

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



Крошка
Доррит

Полное собрание сочинений (Эксмо)

Чарльз Диккенс

**Крошка Доррит. Знаменитый
«роман тайн» в одном томе**

«Эксмо»

1857

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Диккенс Ч.

Крошка Доррит. Знаменитый «роман тайн» в одном томе /
Ч. Диккенс — «Эксмо», 1857 — (Полное собрание сочинений
(Эксмо))

ISBN 978-5-04-094415-6

«Крошка Доррит» – роман, в котором органично смешаны лиризм, трагедия, абсурд и фарс. История девушки, взвалившей на свои плечи заботу о большом семействе, о ее любви к богатому молодому человеку, и в то же время саркастичное описание английского общества – долговой тюрьмы Маршалси (где отбывал наказание отец автора), финансовых махинаций и коррупции. В этом произведении драматизм соседствует с юмором, сюжет увлекает и впечатляет, а обаяние главной героини заставляет читателя сопереживать и вместе с ней ждать счастливых перемен. Викторианская Англия во всем многообразии – в одном из наиболее значительных и глубоких романов великого английского писателя Чарльза Диккенса.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-094415-6

© Диккенс Ч., 1857

© Эксмо, 1857

Содержание

Предисловие автора	6
Книга первая	7
Глава I	7
Глава II	16
Глава III	25
Глава IV	34
Глава V	37
Глава VI	45
Глава VII	53
Глава VIII	61
Глава IX	69
Глава X, заключающая в себе всю науку управления	78
Глава XI	92
Глава XII	99
Глава XIII	105
Глава XIV	120
Глава XV	129
Глава XVI	135
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Чарльз Диккенс
Крошка Доррит. Знаменитый
«роман тайн» в одном томе

Charles Dickens
LITTLE DORRIT

© Калашникова Е., перевод на русский язык. Наследники, 2018

© Оформление, издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Предисловие автора

Я работал над этой книгой в течение двух лет, отдавая ей много времени и труда. И если ее достоинства и недостатки не говорят сами за себя при чтении, значит, моя работа прошла впустую.

Если бы я мог выступить с оправданиями того неумеренного вымысла, каким являются Полипы и Министерство Волокиты, я стал бы искать этих оправданий в повседневной жизни рядового англичанина, не говоря уже о том незначительном обстоятельстве, что столь бесцеремонное нарушение приличий было допущено мною в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси. Если бы я решился отстаивать право на существование столь экстравагантного персонажа, как мистер Мердл, я бы намекнул, что он был задуман после эпопеи с железнодорожными акциями, в пору деятельности некоего Ирландского банка и еще одного-двух столь же почтенных учреждений. Если бы мне понадобились смягчающие обстоятельства для фантастического утверждения, будто дурной замысел иногда прикидывается замыслом добрым и сугубо благочестивым, я сослался бы на ту любопытную случайность, что это утверждение, выраженное в крайней форме на страницах данной книги, совпало по времени с публичным допросом директоров Королевского британского банка. Но я готов, если потребуется, подчиниться заочному приговору по всем этим пунктам и признать мнение авторитетов, что ничего подобного никогда не имело места в нашей стране.

Некоторые из моих читателей, быть может, пожелают узнать, сохранилась ли тюрьма Маршалси, хотя бы частью, до нашего времени. Я сам этого не знал, пока писал свою книгу, и только когда работа уже близилась к концу, отправился взглянуть. Я увидел, что на месте наружного двора, так часто упоминающегося на этих страницах, красуется бакалейная лавка; и это заставило меня предположить, что от старой тюрьмы камня на камне не осталось. Однако, бродя по одной из близлежащих улиц, обозначенной как «Энджел-Корт, ведущая к Бермондси», я вдруг очутился на «Маршалси-Плейс» и не только признал в стоящих там домах большую часть строений старой тюрьмы, но даже убедился, что целы те помещения, которые я мысленно видел перед собой, когда работал над жизнеописанием Крошки Доррит. Какой-то неправдоподобно крошечный мальчуган, державший на руках неправдоподобно громадного младенца, с почти сверхъестественной точностью рассказал мне о прошлом этих мест. Откуда у этого юного Ньютона (ибо я считаю его вполне достойным такого наименования) подобная осведомленность – мне неизвестно; чтобы почерпнуть ее из личного опыта, он должен был родиться на четверть века раньше. Указав на окно комнаты, где появилась на свет Крошка Доррит и где столько лет прожил ее отец, я спросил, кто там живет теперь. Мой собеседник ответил: «Том Питик». Я спросил, кто такой Том Питик, и услышал в ответ: «Джека Питика дядя».

Пройдя немного дальше, я обнаружил ту старую и не столь высокую стену, что шла вокруг тесной внутренней тюрьмы, куда никого никогда не запирали, разве что в особо торжественных случаях. Всякий, кто в наши дни попадет на Маршалси-Плейс, пройдя через Энджел-Корт, ведущую к Бермондси, будет ступать по тем самым каменным плитам, по которым некогда ступали узники Маршалси; направо и налево от него протянется узкий тюремный двор, почти не изменившийся, если не считать того, что верхнюю часть стен снесли, когда это место перестало быть тюрьмой; к нему будут обращены окна комнат, где томились неисправные должники; и скорбные тени прошлого обступят его толпой.

Книга первая Бедность

Глава I Солнце и тень

Однажды в августовский полдень, тридцать лет тому назад, Марсель изнывал под палящими лучами солнца.

Палящий зной в середине августа был не редкостью для юга Франции в то время, как и во все прочие времена. Раскаленное небо сверкало над городом, а в городе и в его окрестностях тоже все сверкало, отражая солнечный свет. Сверкали белые стены домов, сверкали белые улицы, сверкали белые ограды, сверкали истрескавшиеся от зноя ленты дорог, сверкали холмы, где вся зелень была выжжена солнцем, и от этого повсеместного сверканья одурь брала случайного прохожего. Только лозы, отягченные спелыми гроздьями, нарушали сверкающую неподвижность, едва заметно подрагивая, когда горячий воздух шевелил их поникшие листки.

Даже легкий ветерок не рябил тусклую воду гавани и прекрасную гладь открытого моря. Черные и синие воды не смешивались, и граница между ними была ясно видна; но сейчас море было так же неподвижно, как и мутная лужа, от которой оно всегда оберегало свою чистоту. Лодки, не защищенные тентами, накалились так, что нельзя было прикоснуться к бортам; на обшивке кораблей пузырями вздулась краска; камни набережной уже несколько месяцев не остывали ни ночью, ни днем. Жители Индии, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, неаполитанцы, генуэзцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех строителей Вавилонской башни, прибывшие в Марсель торговать, одинаково искали тени, готовы были спрятаться куда угодно, лишь бы спастись от слепящей синевы моря и от огненных лучей исполинского алмаза, вправленного в небесный пурпур.

Разлитое кругом сверкание резало глаза. Правда, там, где на горизонте угадывались очертания итальянского берега, сверкающая даль была подернута легкой дымкой испарений, медленно поднимавшихся с моря; но это было только в одной стороне. Белые от пыли дороги сверкали по склонам гор, сверкали в глубине долин, сверкали на бесконечной шире равнины. Белые придорожные домики были увиты пыльными лозами, длинные ряды иссушенных солнцем деревьев тянулись вдоль дорог, не давая тени, и все кругом никло, истомленное сверкающим зноем, который шел от неба и от земли. Истомлены были лошади, тянувшие в глубь страны вереницы повозок под дремотное позвякиванье колокольцев; истомлены были возницы, клевавшие носом на козлах; истомлены были землепашцы в полях. Все живое, все растущее страдало от зноя – кроме разве ящерицы, что проворно сновала вдоль каменных оград, да цикады, стрекотавшей, точно тоненькая трещотка. Даже пыль словно запеклась на жару, и самый воздух дрожал, как будто и он задыхался от зноя.

Шторы, занавеси, ставни, жалюзи – все было спущено и плотно закрыто, чтобы преградить доступ сверкающему зною. Но стоило ему найти где-нибудь щель или замочную скважину, и он вонзался в нее, как добела раскаленная стрела. Всего надежней были защищены от него церкви. Там сонно мерцали лампы в сумеречной мгле, сонно раскачивались безобразные тени стариков богомольцев и нищих, и выйти из тихого полумрака колонн и сводов было все равно что броситься в огненную реку, когда только и остается, что плыть изо всех сил к ближайшему островку тени. Город, где не видно людей, потому что каждый, разморясь от жары, рад укрыться в тени и лежать неподвижно, где почти не слышно гомона голосов и собачьего

лая, где только нестройный колокольный звон или сбивчивая дробь барабана нарушает порой тишину, – таков был в этот день Марсель, жарившийся в лучах августовского солнца.

Существовала в то время в Марселе тюрьма, мерзости невообразимой. В одной из ее камер, до того отвратительной, что даже сверкающий день гнушался ею и просачивался туда лишь в виде скудных выжимков отраженного света, помещалось двое узников. Приколоченная к стене скамья, вся в зарубках и трещинах, с грубо вырезанным на ней подобием шашечной доски, шашки, сделанные из старых пуговиц и суповых костей, домино, два соломенных тюфяка и несколько винных бутылок – вот и все, что находилось в камере, если не считать крыс и разной невидимой глазу нечисти, кроме нечисти видимой – самих узников.

Скудный свет, о котором говорилось выше, проникал в камеру через довольно большое, забранное железной решеткой окно, выходившее на мрачную лестницу, откуда таким образом можно было во всякое время наблюдать за обитателями камеры. Выступ в кладке стены, у нижнего края решетки, образовал широкий каменный подоконник на высоте трех или четырех футов от полу. Сейчас на этом подоконнике, полусидя, полулежа, устроился один из узников; колени он подобрал, а спиной и ступнями ног упирался в боковые стенки оконного проема. Переplet решетки был настолько редкий, что не помешал ему просунуть руку меж двух прутьев и облокотиться на поперечину, что придавало его позе непринужденность.

Все здесь было отмечено печатью тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели – на всем сказывалось пагубное действие заключения. Лица людей побледнели и осунулись, железо заржавело, камень покрылся слизью, дерево сгнило, воздух был спертый, свет – мутный. Как колодец, как подземелье, как склеп, тюрьма не знала сияния дня и даже среди пряных ароматов где-нибудь на островах Индийского океана сохранила бы в неприкосновенности свою зловонную атмосферу.

Человека, полулежавшего на каменном подоконнике, пробрал даже холод. Нетерпеливым движением плеча он плотней запахнул свой широкий плащ и проворчал: «Черт возьми это проклятое солнце, хоть бы раз заглянуло сюда».

Он ждал, когда его придут кормить, тесно прижавшись к решетке, старался высмотреть что-то внизу, куда уходила лестница, и выражением своего лица напоминал голодного зверя. Но во взгляде слишком близко посаженных глаз не было ничего от царственной гордости львиного взора; то был взгляд пронзительный, но неяркий, – словно нацеленное острие клинка, которое почти не видно, если смотреть на него в упор. Эти глаза не имели глубины, лишены были разнообразия выражений; они просто открывались и закрывались, а иногда блестели, как у кошки. Искусный ремесленник мог бы изготовить лучшую пару глаз – если не говорить о службе, которую они служили своему обладателю. Нос был довольно красив, из тех, которые называют орлиными, но переносица чересчур высока, оттого и расстояние между глазами казалось чересчур малым. Что до остального, то это был человек рослый, видный, с тонкогубым ртом, прятавшимся под густыми усами, и шапкой жестких всклокоченных волос неопределенного пыльного цвета, кой-где, впрочем, отливавших рыжиной. Рука, просунутая между прутьев решетки (вся покрытая свежими, едва зажившими царапинами), была невелика, удивляла своей женственной пухлостью и, верно, удивляла бы также белизной, если бы смыть с нее тюремную грязь.

Второй узник лежал на каменном полу, укрывшись курткой грубого темного сукна.

– Вставай, скотина! – зарычал первый. – Не смей спать, когда я голоден!

– Можно и встать, патрон, – покорно и даже весело согласился тот, кого называли скотиной. – Мне ведь все равно, что спать, что бодрствовать. Разница невелика.

С этими словами он встал, отряхнулся, почесал себе спину, накинул на плечи куртку, которой только что укрывался, завязал рукава под подбородком и, зевая, уселся на пол у стены напротив окна.

– Скажи, который час, – буркнул первый узник.

– Полдень пробьет через... через сорок минут. – Запинка была вызвана тем, что он бежал глазами камеру, точно мог прочесть где-то ответ на заданный ему вопрос.

– С тобой не нужно часов. Как это ты всегда узнаешь время?

– Сам не знаю как. Я всегда могу сказать, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью на лодке, но я отлично знаю, где я. Вот, смотрите! Здесь Марсельская гавань, – привстав на колени, он начал чертить смуглым пальцем по каменному полу. – Здесь Тулон (и тулонская каторга), вот с этой стороны Испания; а вон с той – Алжир. Там, налево, Ницца. А теперь вдоль Корниша сюда, и вот вам Генуя. Генуэзский мол и гавань. Карантин. А вот и самый город: поднимающиеся уступами сады, где цветет белладонна. Так, поехали дальше. Порто Фино. Возьмем курс на Ливорно. А теперь на Чивита-Веккиа. Отсюда прямая дорога в... эх ты! Для Неаполя места не хватило! – Палец его уже уперся в стену. – Но все равно: Неаполь вот тут!

Он стоял на коленях, поглядывая на своего сотоварища не по-тюремному веселыми глазами. Небольшой загорелый человек, живой и юркий, несмотря на плотное телосложение. Серьги в коричневых от загара ушах, белые зубы, освещающие плутовскую физиономию, черные как смоль волосы, курчавящиеся над коричневым лбом, рваная красная рубашка, распахнутая на коричневой груди. Широкие, как у моряка, штаны, еще крепкие башмаки, красный колпак, сбитый набок, красный кушак, а за кушаком нож.

– Теперь смотрите, не собьюсь ли я с пути, возвращаясь. Следите, патрон! Чивита-Веккиа, Ливорно, Порто Фино, Генуя, Ницца (вот здесь, за Корнишем), Марсель и мы с вами. Вот тут, где приходится мой большой палец, – каморка тюремщика и его ключи, а здесь, у моего запястья, футляр, где хранится государственная бритва – гильотина; ее ведь тоже держат под замком.

Первый узник вдруг яростно сплюнул на пол и заскрежетал зубами.

И тотчас же словно в ответ заскрежетал внизу ключ в замочной скважине, затем хлопнула дверь. Послышались медленные, тяжелые шаги по лестнице, а вперемежку с ними детский щебечущий голосок; еще мгновение – и в окне показался тюремщик с маленькой девочкой лет трех или четырех, прижимавшейся к его плечу; в руке у него была корзина.

– Как поживаете нынче, господа? Моя дочурка тоже пришла со мной, поглядеть на отцовских птичек. Ну, что же ты? Вот они, птички, моя куколка, вот, гляди на них.

Поднеся ребенка поближе к решетке, он и сам зорко приглядывался к своим птичкам, особенно к той, что поменьше, – ее живость явно внушала ему недоверие.

– Я вам принес ваш хлеб, синьор Жан-Батист, – сказал он (все трое говорили по-французски, но смуглый человечек был итальянец). – И я хотел бы посоветовать вам: не играйте...

– А почему вы не советуете того же моему патрону? – спросил Жан-Батист, ухмыляясь и показывая свои белые зубы.

– Так ведь ваш патрон всегда выигрывает, – возразил тюремщик, недружелюбно покосившись на того, о ком шла речь, – а вы проигрываете. Это совсем другое дело. Вам потом приходится есть один черствый хлеб, запивая его какой-то кислятиной, а он лакомится лионской колбасой, заливным из телячьих ножек, белым хлебом, сыром и отборными винами. Что же ты не смотришь на птичек, моя куколка?

– Бедные птички, – сказала малютка.

Святое сострадание озаряло хорошенькое личико ребенка, глядевшее сквозь решетку. Повинуясь невольному побуждению, Жан-Батист встал и подошел ближе. Второй узник остался в прежней позе, только жадно посматривал на корзину.

– Погодите-ка, – сказал тюремщик, ставя девочку на выступ по ту сторону решетки, – она сама покормит птичек. Вот этот каравай хлеба – для синьора Жан-Батиста. Мы его разломим пополам, иначе его не просунуть в клетку. Смотри, какая славная птичка, даже поцеловала тебе ручонку. Колбаса, завернутая в виноградные листья, это для господина Риго. И вкусное

заливное из телячьих ножек тоже для господина Риго. И эти три белые булочки тоже для господина Риго. И сыр тоже – и вино тоже – и табак тоже – все для господина Риго. Счастливая эта птичка!

Девочка послушно передавала все названное в мягкие, нежные, изящной формы руки за решеткой, но делала это с явным страхом, иной раз даже спешила отдернуть свою ручку и, нахмутив лобик, смотрела не то испуганно, не то сердито. А между тем она так доверчиво положила черствый хлеб на заскорузлую, шершавую ладонь Жан-Батиста (на всех десяти пальцах которого не набралось бы достаточно ногтя для одного лишь мизинца господина Риго), а когда он поцеловал ее ручку, ласково погладила его по щеке. Но господин Риго не обратил на это ни малейшего внимания; желая задобрить отца, он улыбался и кивал дочке, а когда все припасы были ему переданы и удобно разложены на подоконнике, принялся истреблять их с завидным аппетитом.

Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила перемена, скорее занятная, нежели приятная. Его усы вздергивались кверху, а кончик носа загибался книзу, придавая ему злое и хищное выражение.

– Вот! – сказал тюремщик и, перевернув корзину, вытряхнул со дна крошки. – Деньги ваши я потратил все. Вот вам счетец, и дело с концом. Как я и предполагал, господин Риго, председатель будет иметь удовольствие встретиться с вами нынче в час пополудни.

– Чтобы судить меня, да? – спросил Риго, застыв с ножом в руке и с куском во рту.

– Угадали. Чтобы вас судить.

– А насчет меня ничего нет нового? – спросил Жан-Батист, благодушно принявшийся было за свой черствый хлеб.

Тюремщик молча пожал плечами.

– Мать Божия! Что же, я до конца своих дней буду сидеть тут?

– А мне откуда знать? – воскликнул тюремщик, обернувшись к нему с живостью истинного южанина и так яростно жестикулируя обеими руками и всеми десятью пальцами, как будто намеревался разорвать его в клочки. – Вздумал тоже, спрашивать у меня, сколько он будет здесь сидеть! Ну, откуда мне знать это, Жан-Батист Кавалетто? Разрази меня бог! Иные арестанты вовсе не так рвутся поскорей попасть к судье в руки.

При этих словах он искоса глянул в сторону господина Риго, но господин Риго уже снова принялся закусывать, хоть и не с таким аппетитом, как прежде.

– До свиданья, птички! – подсказал тюремщик своей дочурке, взяв ее на руки и целуя.

– До свиданья, птички, – повторила малютка.

Тюремщик медленно стал спускаться с лестницы, напевая куплет из детской песенки:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн!
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей!

и таким милым было невинное личико, выглядывавшее поверх отцовского плеча, что Жан-Батист счел своим долгом подтянуть из-за решетки верным, хотя и сипловатым голосом:

Придворных рыцарей краса,
Кавалер де ла Мажолэн!
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей!

Это заставило тюремщика остановиться, пройдя несколько ступенек, чтобы девочка могла дослушать песню и повторить припев, пока она и певец еще видели друг друга. Но вот ее головка скрылась из виду, исчезла и голова тюремщика, и только детский голосок слышался до тех пор, пока не хлопнула внизу дверь.

Жан-Батист еще постоял у решетки, прислушиваясь к медленно угасавшему эху – в тюрьме даже эхо звучало глуше и словно отставало в изнеможении; но он мешал господину Риго, и тот пинком ноги отогнал его на прежнее место в темный угол камеры. Маленький итальянец как ни в чем не бывало уселся снова на каменный пол (видно было, что ему не привыкать стать к этому) и, разложив перед собой три ломтя черствого хлеба, принялся грызть четвертый с таким азартом, как будто побился об заклад, что расправится с ними в самое короткое время.

Быть может, и текли у него слюнки при взгляде на лионскую колбасу и на заливное из телячьих ножек, но эти пышные яства недолго щекотали его аппетит своим видом. Мысли о председателе и о суде не помешали господину Риго умять все дочиста, после чего он тщательно обсосал пальцы и вытер их виноградным листом. Допивая из бутылки вино, он оглянулся на своего собрата по заключению, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Как твой хлеб, хорош ли на вкус?

– Суховат немного, да приправа вырывает, – отвечал Жан-Батист, подняв свой нож.

– Какая такая приправа?

– А я, видите ли, умею по-разному резать хлеб. Вот так – будто дыню. Или вот так – будто жареную рыбу. Или так – будто яичницу. Или еще так – будто лионскую колбасу. – При этих словах Жан-Батист ловко орудовал ножом, не забывая в то же время работать челюстями.

– Держи! – крикнул ему господин Риго. – Пей! Допивай до конца!

То был не слишком щедрый дар – вина в бутылке осталось лишь на доньшке – но синьор Кавалетто принял его с благодарностью; проворно вскочив на ноги, он подхватил бутылку, опрокинул ее себе в рот и причмокнул губами от удовольствия.

– Поставь бутылку туда, где стоят остальные, – сказал Риго.

Маленький итальянец исполнил приказание, а потом с зажженной спичкой наготове встал возле Риго, который свертывал себе папиросы из нарезанной квадратиками бумаги, доставленной ему вместе с табаком.

– Вот тебе! Можешь выкурить одну!

– Тысяча благодарностей, патрон! – отозвался Жан-Батист на языке своей родины и со всей горячностью, свойственной ее сынам.

Господин Риго закурил, спрятал остальной запас курева в нагрудный карман, лег на скамью и вытянулся во весь рост. Кавалетто сидел на полу и мирно попыхивал папиросой, обхватив руками колени. Какая-то непонятная сила, казалось, притягивала взгляд господина Риго к тому местечку на полу, где Кавалетто, чертя план, останавливал свой большой палец. Итальянец, подметивший это, несколько озадаченно следил за направлением его взгляда.

– Что за гнусная дыра! – сказал господин Риго, прерывая затянувшееся молчание. – Ничего не видно даже при свете дня. Впрочем, разве это свет дня? Это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года! Взгляни, какой он слабый, тусклый!

Дневной свет попадал в камеру как бы процеженным через квадратную воронку окна на лестнице – окна, в которое нельзя было увидеть ни кусочка неба, да и ничего другого тоже.

– Кавалетто! – сказал господин Риго, отводя глаза от этой воронки, к которой они оба невольно обратили взгляд после его слов. – Кавалетто, ведь ты знаешь, что я – джентльмен?

– Как не знать.

– Сколько времени мы находимся здесь?

– Я – завтра в полночь будет одиннадцать недель. Вы – нынче в пять пополудни будет девять недель и три дня.

– Видел ли ты хоть раз, чтобы я утруждал себя какой-нибудь работой? Подмел бы пол, или разостлал тюфяки, или свернул тюфяки, или подобрал рассыпавшиеся шашки, или сложил домино, или вообще палец о палец ударил?

– Ни разу!

– А пришло ли тебе хоть раз в голову, что мне бы следовало взяться за какую-нибудь работу?

Жан-Батист энергично замахал указательным пальцем правой руки, что является самой сильной формой отрицания в итальянской речи.

– Нет! Стало быть, ты, как только увидел меня здесь, сразу же понял, что перед тобой джентльмен?

– Altro! – воскликнул Жан-Батист, закрыв глаза и энергично тряхнув головой. Слово это в устах генуэзца может означать подтверждение, возражение, одобрение, порицание, насмешку, упрек, похвалу и еще полсотни других вещей; в данном случае оно примерно соответствовало нашему «Еще бы!», но только учетверенному по силе выражения.

– Ха-ха! Что ж, ты прав! Джентльменом я был, джентльменом остался и джентльменом умру. Это мое ремесло – быть джентльменом. Это мой козырь в игре, и, громы и молнии, я намерен ходить с него до самого конца.

Он сел и воскликнул с победоносным видом:

– Вот я каков! Слепая прихоть судьбы забросила меня в одну камеру с ничтожным контрабандистом, с жалким беспаспортным оборванцем, которого полиция сцапала за то, что он дал свою лодку другим таким же беспаспортным оборванцам, собиравшимся удрать на ней за границу. И что же – он тотчас чутьем угадал во мне джентльмена, даже здесь, в этой гнусной дыре, при этом гнусном освещении. Здорово! Черт возьми, мои козыри остаются козырями при любой игре.

Снова его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Который теперь час? – спросил он, облизнув пересохшие губы, и бледность его лица не вязалась с деланым весельем тона.

– Скоро половина первого.

– Отлично! Осталось совсем немного до назначенного свидания джентльмена с председателем суда. Слушай! Хочешь, я расскажу тебе, в чем меня обвиняют? Другого случая не будет, потому что я сюда уже не вернусь. Одно из двух: меня либо выпустят на свободу, либо отправят бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва.

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта и на миг обнаружил большее волнение, чем можно было ожидать.

– Так вот, – начал господин Риго, встав и выпрямившись во весь рост. – Я – джентльмен-космополит. У меня нет родины. Отец мой был швейцарец из кантона Во. Мать – французка по крови, англичанка по рождению. Родился я в Бельгии. Я гражданин мира.

Он стоял в картинной позе, упираясь одной рукой в бедро под свободно падавшими складками плаща, и говорил, не глядя на слушателя, а словно бы обращаясь к противоположной стене; все это наводило на мысль, что он скорей репетирует свои ответы суду, нежели заботится об осведомлении такой ничтожной особы, как Жан-Батист Кавалетто.

– Можете считать, что мне сейчас тридцать пять лет от роду. Я повидал свет. Жил везде понемногу, и всегда жил джентльменом. Как джентльмена меня встречали повсюду, и как джентльмену оказывали мне уважение. А если вы вздумаете изобличать меня в том, что я обманом и хитростью добывал себе средства к существованию, я спрошу вас: а как живут ваши адвокаты, ваши политики, ваши спекуляторы, ваши биржевые дельцы?

Он то и дело выбрасывал вперед свою небольшую изящную руку, словно наглядное доказательство его благородного происхождения, уже не раз сослужившее ему службу.

– Два года назад я приехал в Марсель. Перед тем я долго болел, и кошелек мой, не стану скрывать, был пуст. А разве у ваших адвокатов, ваших политиков, ваших спекуляторов, ваших биржевых дельцов болезнь не скажется на состоянии кошелька – если только они не успели раньше обзавестись капиталом? Остановился я в гостинице «Золотого Креста», содержатель которого, господин Анри Баронно, был мужчина преклонных лет и весьма слабого здоровья. На четвертый месяц моего пребывания там господин Баронно имел несчастье скончаться, что может случиться со всяким. Немало людей каждый день переселяется в лучший мир без моей помощи.

Жан-Батист докурил свою папиросу до самых кончиков пальцев, и господин Риго в порыве великодушия бросил ему еще одну. Прикурив от тлеющего окурка, итальянец продолжал пускать дым, исподлобья глядя на своего товарища, который почти не замечал его, поглощенный рассказом.

– У господина Баронно осталась вдова. Ей было двадцать два года. Она считалась красавицей и в самом деле была красива (что не одно и то же). Я продолжал жить в «Золотом Кресте». Я женился на госпоже Баронно. Не мне говорить о том, равный ли это был брак, но взгляните на меня: хотя два с лишком месяца тюрьмы не могли пройти бесследно, не сдается ли вам, что я был ей более под стать, нежели ее покойный супруг?

У него были замашки красавца и светского человека, хотя он не был ни тем ни другим; он брал лишь бахвальством и самоуверенностью, но у половины рода людского в таких случаях, как и во многих других, апломб легко сходит за доказательство истины.

– Как бы там ни было, госпоже Баронно я пришелся по сердцу. Надеюсь, это не может быть поставлено мне в вину?

Задав этот вопрос, он невзначай глянул на Жан-Батиста, и маленький итальянец энергично замотал головой, для большей убедительности без передышки твердя: «Altro, altro, altro!»

– Вскоре у нас пошли нелады. Я горд. Не стану утверждать, что это похвально, но таково уж мое природное свойство. Кроме того, я властолюбив. Подчиняться я не умею; у меня потребность властвовать. На беду капитал госпожи Риго находился в ее личном распоряжении. Этот старый дурак, ее покойный муж, закрепил его за нею. В довершение беды у нее оказалась большая родня. Когда родственники жены начинают вмешиваться в семейную жизнь, это ставит под угрозу мир в семье, особенно если муж – джентльмен, если он горд и если у него потребность властвовать. Нашелся и еще источник раздоров. У госпожи Риго, к несчастью, были несколько вульгарные манеры. Я попытался улучшить их, давая ей наставления по части хорошего тона; она (опять-таки не без поддержки со стороны родственников) обижалась на это. Мы стали ссориться, а родственники госпожи Риго распускали всякие сплетни и клевету, преувеличивая наши нелады и делая их предметом соседских пересудов. Стали говорить, будто я жестоко обращаюсь с госпожой Риго. А между тем самое большее, что могли видеть, это как я разок-другой ударю ее по лицу. К тому же рука у меня легкая, и если мне когда-либо и случалось поучить госпожу Риго таким образом, то это скорей была шутка.

Если шутки господина Риго хоть отчасти напоминали то, что выражала усмешка, искривившая при этих словах его губы, родственники злосчастной госпожи Риго имели все основания предпочитать, чтобы он поучал ее не в шутку, а всерьез.

– Я самолюбив и отважен. Не хочу ставить это себе в заслугу, но таковы мои природные свойства. Если бы родственники госпожи Риго пошли против меня в открытую, я бы знал, как мне с ними быть. Но они, понимая это, плели свои интриги тайно и лишь способствовали тому, что столкновения между мною и госпожой Риго все учащались и усиливались. Даже когда мне требовалась небольшая сумма денег на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения – и это я, чье природное свойство – властвовать! Однажды вечером мы с госпожой Риго, как добрые друзья, или еще лучше сказать, как влюбленная парочка, гуляли по

обрыву над самым морем. Какой-то злой дух подстрекнул госпожу Риго завести речь о своих родственниках. Я стал укорять ее, доказывая, что добрая и любящая жена не должна поддаваться коварным наущениям родственников, имеющим целью посеять в ней вражду к мужу. Госпожа Риго возражала; я тоже возражал. Госпожа Риго рассердилась; я тоже рассердился и наговорил лишнего. Я это признаю. Откровенность – мое природное свойство. И вот госпожа Риго в припадке ярости (никогда не прощу себе, что довел ее до этого) набросилась на меня с дикими воплями – их-то, должно быть, и слышали проходившие по дороге, – стала рвать мне волосы, царапать руки, изодрала мое платье, истоптала всю землю кругом, а в конце концов прыгнула с обрыва и насмерть разбилась о прибрежные скалы. Вот те события, которые людская злоба извратила, представив дело так, будто я старался принудить госпожу Риго отказаться от своих имущественных прав в мою пользу и, не добившись успеха, – убил ее.

Он шагнул к окну, на котором еще лежали разбросанные виноградные листья, взял два или три листка и, стоя спиной к свету, стал вытирать ими руки.

– Ну? – спросил он после некоторого молчания. – Что ты на все это скажешь?

– Скверное дело, – ответил маленький итальянец; он уже встал и, держась одной рукой за стену, чистил свой нож о подошву башмака.

– Это что значит?

Жан-Батист молча начищал нож.

– Уж не намекаешь ли ты, что я рассказал не так, как оно было?

– Altro! – воскликнул Жан-Батист. На этот раз это прозвучало как извинение и должно было означать: «Что вы, помилуйте!»

– Как же понять твое замечание?

– Суды и судьи так пристрастны.

– Хорошо же! – вскричал рассказчик и, прибавив ругательство, судорожным движением забросил край плаща на плечо. – Пусть выносят самый худший приговор!

– Так они, верно, и сделают, – пробормотал себе под нос Жан-Батист, низко наклонив голову и засовывая нож за кушак.

Больше ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, хотя оба узника принялись расхаживать по камере взад и вперед и пути их всякий раз скрещивались на середине. Несколько раз господин Риго, казалось, вот-вот готов был остановиться, желая то ли сообщить еще что-то о своем деле, то ли просто отвести душу злобным восклицанием; но синьор Кавалетто, не поднимая глаз, рысцой трусил дальше, и господин Риго волей-неволей продолжал свою прогулку, так и не раскрыв рта.

Но вот где-то загремел в замке ключ, заставив обоих остановиться и прислушаться. Донесся разноголосый говор, топот шагов. Потом хлопнула дверь, шаги и голоса стали приближаться, и по лестнице, тяжело ступая, поднялся тюремщик в сопровождении небольшого отряда солдат.

– Ну, господин Риго, – сказал тюремщик, подойдя к решетке с ключами в руке. – Прошу вас, выходите.

– Я вижу, меня решили доставить с почестями!

– Это необходимо, – возразил тюремщик, – иначе вас, пожалуй, разорвут на столько частей, что потом и не соберешь. Внизу теснится толпа горожан, господин Риго, и она настроена не слишком дружелюбно.

Он отошел от окна; стало слышно, как он возится с замками и засовами. Минуту спустя отворилась низенькая дверь в углу камеры и тюремщик показался на пороге.

– Итак, прошу вас, – повторил он, обращаясь к узнику.

Среди всех оттенков белого цвета на земле нет такого, которым можно было бы обозначить бледность, разлившуюся по лицу господина Риго. И среди всех выражений, свойственных человеческим чертам, не найти ничего похожего на выражение этого лица в миг, когда, каза-

лось, в каждой крохотной его жилке бился страх, сжимавший сердце. Говорят обычно: «Бледен, как мертвец, страшен, как мертвец», но сравнение это неверно, ибо нет и не может быть сходства между завершенной борьбой и отчаянным напряжением решающей схватки.

Он вставил в рот новую папиросу и, прикурив у своего товарища по заключению, крепко стиснул ее в зубах; потом надел шляпу с мягкими, низко свисающими полями, снова переброшил через плечо край плаща и вышел в дверь, даже не оглянувшись на синьора Кавалетто. Впрочем, и тому было сейчас не до него; все внимание маленького итальянца сосредоточилось на одном: как бы подойти поближе к двери и выглянуть наружу. Точно зверь, подкравшийся к отворенной дверце клетки, за которой – свобода, он жадно вглядывался в темноту узкой галереи, куда выходила дверь камеры, пока эта дверь не захлопнулась перед ним.

Конвоем командовал офицер, флегматичный толстяк с обнаженной шпагой в руке и дымящейся сигарой во рту. Он коротко приказал своим солдатам построиться вокруг господина Ригго, с невозмутимым хладнокровием занял место во главе отряда, скомендовал «Марш!» – и процессия под бряцанье оружия тронулась вниз по лестнице. Хлопнула дверь – повернулся ключ в замке – и от ворвавшейся было в тюрьму струи непривычного воздуха и света остался лишь медленно таявший синеватый дымок офицерской сигары.

Второй узник, оставшись один, с проворством обезьяны или медвежонка, которого раздражили, взобрался на подоконник, чтобы не упустить ничего из церемонии отбытия. Он все еще стоял, сжимая решетку руками, как вдруг до его слуха донесся громкий шум – крики, брань, вопли, угрозы, проклятия сливались в сплошной яростный гул, похожий на рев бури.

Узник торопливо спрыгнул с окна и заметался по камере, в своем беспокойстве еще более похожий на дикого зверя в клетке; потом он снова вскочил на окно, вцепился в решетку и стал трясти ее обеими руками, снова спрыгнул и заметался из угла в угол, снова вскочил на окно и прислушался, и так он не мог найти себе покоя до тех пор, пока шум не замер в отдалении. А сколько узников с душой куда более благородной вот так же исходят тоской в неволе, и никто не задумывается об этом, даже любимые ими существа далеки от истины; а великие мира сего, те, что обрекли их на заточение, в это время гарцуют в лучах солнца под приветственные клики толпы; когда же пробьет их смертный час, спокойно отходят в вечность на собственной постели, напутствуемые восхвалениями и пышными речами; и учтивая история, более раблепная, чем любой клевет, услужливо бальзамирует трупы!

Наконец Жан-Батист, который волен был теперь выбирать в этих стенах любое место для проверки своей способности засыпать когда вздумается, лег на скамью, подложив под голову скрещенные руки, закрыл глаза и через мгновение уже спал. В своей беспечности, в своей покладистости, в своем добродушии, в коротких вспышках гнева, в том, как легко приходил к нему сон, в том, как легко он довольствовался черствым хлебом и жестким ложем, в быстрой смене горя и веселья – во всем этом он был истинным сыном своей родины.

Меж тем сверканье, разлитое кругом, стало меркнуть и мало-помалу угасло; в ореоле алых, зеленых, золотистых лучей закатилось солнце; звезды высыпали на небе, а на земле, подражая им, засияли светлячки, – так добрые дела, совершаемые людьми, служат лишь жалким подобием высшего добра; на пыльные дороги и на бескрайнюю равнину лег покой; глубокая тишина воцарилась над морем, и даже волны не шептались о том далеком дне, когда им придется возвращать своих мертвых.

Глава II

Дорожные спутники

– Сегодня, кажется, уже не орут, как орал вчера, – верно, сэр?

– Не слышно, во всяком случае.

– Стало быть, не орут. Эти люди, когда открывают рот, так уж заботятся о том, чтобы их было слышно.

– Вполне естественная забота.

– Да, но ведь они орут постоянно. Им без этого жизнь не в жизнь.

– Вы говорите о марсельцах?

– Я говорю о французах. Все они любители поорать. А что до Марселя, так мы знаем, что такое Марсель. Город, откуда пошла гулять по свету самая возмутительная бунтовская песня из всех, когда-либо сочиненных на земле. Который просто не мог бы существовать без этих своих *аллон-маршон* – все равно куда, хоть к победе, хоть к смерти, хоть к черту, на худой конец.

Произнесший эту тираду – с самым, впрочем, забавно-добродушным видом – перегнулся через парапет и обвел Марсель взглядом, исполненным величайшего презрения; а затем принял независимую позу, заложив руки в карманы и брэнча там монетами, и подкрепил этот взгляд уничтожительным смешком.

– *Аллон-маршон*, скажите на милость! Лучше бы дали порядочным людям *аллон-маршон* по их надобностям, а не запирали их в какой-то дурацкий карантин!

– Да, обстоятельство предосадное, – согласился второй собеседник. – Но сегодня нас обещают выпустить.

– Обещают выпустить! – воскликнул первый. – Да это, если хотите, еще большее безобразие. Выпустить! А с какой стати нас здесь вообще держат?

– Действительных причин нет, согласен. Но поскольку мы прибыли с Востока, а Восток – пристанище чумы...

– Чумы! – подхватил первый. – Вот в этом все дело. Недолго и очуметь от того, что с нами здесь происходит. Я словно человек в здравом уме и твердой памяти, которого засадили в дом для умалишенных, – просто не могу перенести, что меня подозревают в чем-либо подобном. Мое здоровье не оставляло желать лучшего, когда мы сюда приехали; но от одного подозрения, что я могу быть зачумлен, я совсем очумел. Да, да, они правы: у меня чума.

– Вы ее отлично переносите, мистер Миглз, – с улыбкой отозвался его собеседник.

– Ошибаетесь. Знай вы всю правду обо мне, вы бы так не говорили. Уж сколько времени я просыпаюсь по ночам и твержу себе: вот я заболеваю, вот я уже заболел, вот теперь я умру, и эти негодяи воспользуются моей смертью, чтобы оправдать свои предосторожности. Да я предпочел бы, чтобы меня сразу проткнули булавкой и накололи на картон, точно какую-нибудь букашку в коллекции насекомых, чем терпеть те муки, которые я здесь терплю.

– Полно тебе, мистер Миглз, что уж теперь говорить об этом, когда все позади, – послышался жизнерадостный женский голос.

– Позади! – подхватил мистер Миглз, который (вопреки своему природному добродушию) находился, видимо, в таком расположении духа, когда всякая попытка со стороны прекратить спор лишь подливает масла в огонь. – А хотя бы даже и позади, почему же мне не говорить об этом?

Женский голос принадлежал миссис Миглз, а миссис Миглз походила на мистера Миглза – у нее было такое же приветливое, румяное лицо, одно из тех славных английских лиц, на которых запечатлелся отблеск камелька и домашнего уюта, озаряющего их пять или шесть десятков лет.

– Ну, ну, уймись, папочка, уймись, – сказала миссис Миглз. – Вот погляди на Бэби себе в утешение.

– На Бэби! – все еще ворчливо повторил мистер Миглз, но в это время сама Бэби, стоявшая тут же, положила руку на отцовское плечо, и мистер Миглз немедленно и от глубины души простил Марселю все обиды.

Бэби можно было дать лет двадцать. Это была красивая девушка с густыми каштановыми волосами, самой природой завитыми в крупные локоны. Особенно хороши были у нее глаза – такие большие, такие ясные, такие блестящие, так чудесно озарявшие ее открытое доброе лицо. Пухленькая, свеженькая, вся в ямочках, она была немилосердно избалована и отличалась той робкой беспомощностью, которая составляет самый очаровательный недостаток на свете; ей он придавал дополнительную прелесть, без чего, впрочем, столь милая и хорошенькая девушка могла бы и обойтись.

– Прошу вас, скажите мне, – проникновенно и доверительно произнес мистер Миглз, отступив на шаг назад и подтолкнув дочь на шаг вперед для большей наглядности, – скажите мне откровенно, как джентльмен джентльмену, можно ли было придумать большую нелепицу, нежели посадить Бэби в карантин?

– Эта нелепица даже карантин сделала приятным.

– А ведь верно! – воскликнул мистер Миглз. – Обстоятельство немаловажное! Благодарю вас за то, что вы на него указали. А теперь, Бэби, радость моя, пора вам с мамочкой собираться в дорогу. Сейчас сюда явится инспектор врачебного надзора и еще целая ватага бездельников в треуголках, чтобы выпустить нас, бедных арестантов, из темницы, и, прежде чем мы разлетимся кто куда, надо на прощанье еще хоть раз позавтракать всем вместе по-христиански. Тэттикорэм, от барышни ни на шаг!

Последнее относилось к хорошенькой, опрятно одетой девице с блестящими черными глазами и волосами, которая шла за миссис Миглз и Бэби и лишь слегка присела на ходу в ответ на полученное приказание. Все втроем они прошли по сожженной солнцем террасе и исчезли под сверкающей белизной аркой входа. Собеседник мистера Миглза, мужчина лет сорока, со смуглым, немного печальным лицом, смотрел им вслед до тех пор, пока мистер Миглз не хлопнул его легонько по плечу.

– Ах, простите! – встрепенулся он.

– Ничего, ничего, – успокоил его мистер Миглз.

Они молча прошлись взад и вперед под тенью стены, наслаждаясь той каплей прохлады, которую ветерок с моря еще доносил в этот ранний утренний час к высоко расположенным карантинным баракам.

Разговор возобновил собеседник мистера Миглза.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, – как зовут...

– Тэттикорэм? – перебил мистер Миглз. – Не имею ни малейшего представления.

– Мне казалось, – продолжал собеседник, – что...

– Тэттикорэм? – снова подсказал мистер Миглз.

– Благодарю вас... что ее так и зовут – Тэттикорэм, и я не раз дивился этому странному имени.

– Видите ли, – ответил мистер Миглз, – все дело в том, что мы с миссис Миглз – люди практические.

– Это я уже не раз слышал во время тех приятных и интересных бесед, которые мы с вами вели, прогуливаясь по этим каменным плитам, – отозвался собеседник, и легкая улыбка пробилась сквозь тень печали, лежавшую на его лице.

– Да, мы люди практические. Однажды, тому лет пять или шесть, мы повели Бэби в церковь при Воспитательном доме – слышали вы о лондонском Воспитательном доме? Такое же заведение, как приют для найденышей в Париже.

– Я бывал там.

– Так вот, однажды мы повели Бэби в эту церковь послушать музыку – как люди практические, мы считаем одним из главных дел своей жизни знакомить ее со всем, что, на наш взгляд, могло бы ей понравиться; и вдруг во время музыки мамочка (так я обычно зову миссис Миглз) расплакалась, и до того безудержно, что пришлось вывести ее из церкви. «Что с тобой, мамочка? – спрашиваю я ее, когда она немного пришла в себя. – Посмотри, ведь ты же Бэби напугала». – «Да, ты прав, папочка, – говорит она, – но ведь не люби я так нашу Бэби, мне, наверно, не пришла бы в голову эта мысль». – «Какая такая мысль, мамочка?» – «Ах, господи, господи! – воскликнула она и снова в слезы. – Как увидела я этих детишек, выстроенных тут ряд над рядом, да услышала, как они, никогда не знавшие земных отцов, взывают ко всеобщему нашему Отцу Небесному, так и подумала: а ведь может статься, какая-нибудь несчастная мать тоже приходит сюда, глядит на детские личики и гадает – где же тут то бедное дитя, которое ей обязано своим появлением на этот грешный свет и которому никогда не суждено узнать ни ласки ее, ни любви, ни лица, ни голоса, ни даже имени». Вот что значит женщина практическая! Я так ей тогда и сказал: «Мамочка, говорю, в тебе сразу видно женщину практическую».

Слушатель мистера Миглза, невольно растроганный, кивнул головой.

– А назавтра я сказал ей: «Мамочка, я кое-что надумал, что тебе, должно быть, придется по душе. Давай возьмем одну из вчерашних девочек к нам в дом, и пусть она ходит за нашей Бэби. Мы с тобой люди практические, и если бы потом оказалось, что у нашей маленькой служанки не слишком кроткий нрав и не во всем она поступает по-нашему, мы будем помнить те обстоятельства, которые тут надобно принять во внимание. Будем помнить, что в отличие от нас девочка с колыбели была лишена всего, что так благотворно влияет на человеческую душу, – не было у нее ни отца с матерью, ни братишек или сестренок, ни домашнего очага, ни хрустальных башмачков, ни крестной-волшебницы». Вот так и появилась у нас в доме Тэттикорэм.

– Но самое имя?..

– Ах ты господи! – вскричал мистер Миглз. – Об имени-то я и позабыл. Видите ли, в Воспитательном она звалась Гарриэт Бидл – имя, разумеется, случайное. Мы и сделали из Гарриэт Гэтти, а из Гэтти – Тэтти. Понимаете, как люди практические, мы решили, что ей приятнее будет отзываться на такое славное веселенькое имя и что это даже может способствовать смягчению ее нрава. Ну, а уж о фамилии Бидл, понятно, не могло быть и речи. Зло, с которым нельзя мириться ни при каких условиях, воплощение чиновничьей тупости и наглости, допотопная фигура, чей сюртук, жилет и длинная трость символизируют упрямство, с которым мы, англичане, держимся за бессмыслицу, когда все уже поняли, что это бессмыслица, – вот что такое бидл. Давно вы не встречали живого бидла?

– Давно – ведь я двадцать с лишком лет провел в Китае.

– Ну так мой вам совет, – с большим воодушевлением сказал мистер Миглз, приставив указательный палец к груди собеседника, – старайтесь не встречать и впредь. Если мне в воскресный день попадается на улице процессия приютских ребятишек, во главе которой шествует бидл в полном параде, я тотчас же спешу свернуть с дороги – уж очень хочется накостылять ему шею. Одним словом, о фамилии Бидл не могло быть и речи, и, вспомнив, что основателем заведения для бедных найденьшей был некий Корэм, мы решили присвоить маленькой служанке Бэби фамилию этого добросердечного джентльмена. Так ее и стали звать – то Тэтти, то Корэм, в конце же концов оба имени слились в одно, и теперь уж ее всегда зовут Тэттикорэм.

Они еще раз молча прошлись взад и вперед, а затем постояли немного у парапета, глядя на море.

– Насколько мне известно, – вернулся к разговору собеседник мистера Миглза, когда они вновь зашагали по террасе, – ваша дочь – единственный ваш ребенок. Позвольте спросить вас – не сочтите это нескромным любопытством, мой вопрос вызван лишь тем, что я испытал много

удовольствия от вашего общества и, опасаясь, что в сутолоке этого мира нам, может быть, и не придется продлить знакомство, желал бы сохранить возможно более полное представление о вас и о вашей семье, – позвольте спросить, правильно ли я заключил из слов вашей достойной супруги, что у вас были еще дети?

– Нет, нет, – сказал мистер Миглз. – Это не совсем точно. Не дети, а ребенок.

– Простите, я, кажется, невзначай затронул больное место.

– Ничего, не смущайтесь, – сказал мистер Миглз. – Хоть это и грустное воспоминание, но не тяжелое. Оно заставляет меня на мгновение притихнуть, однако не причиняет мне боли. У Бэби была сестра-близнец; она умерла, когда ее глазки, – точно такие же, как у Бэби, – только только стали виднеться над столом, если она привставала на цыпочки.

– О-о!

– А поскольку мы с миссис Миглз люди практические, то мало-помалу у нас сложилась привычка, которая вам, может быть, покажется странной – а может быть, и нет. Бэби и ее сестра были настолько похожи друг на друга, настолько, словно бы составляли одно целое, что у нас в мыслях они навсегда остались нераздельными. Напрасно было бы напоминать нам о том, что наша вторая дочка умерла совсем малюткой. Для нас она росла и развивалась наравне с той, которую богу угодно было сохранить нам и с которой мы всегда неразлучны. Бэби становилась старше, и сестра ее тоже становилась старше; Бэби умнела и хорошела, и сестра ее умнела и хорошела вместе с нею. Я убежден, что, если завтра мне суждено перейти в лучший мир, я найду там дочку, в точности такую же, как Бэби сейчас, и разуверить меня в этом так же трудно, как в том, что живая Бэби здесь, рядом со мною.

– Я понимаю вас, – тихо молвил его слушатель.

– Что до самой Бэби, – продолжал мистер Миглз, – то внезапная потеря сестры, бывшей ее живым портретом и подружкой всех ее игр, а с другой стороны, преждевременное приобщение к великому таинству, которое всех нас ожидает, но которое не так уж часто поражает нежное детское воображение, – все это не могло, разумеется, пройти для нее бесследно. К тому же мы с ее матерью поженились, будучи уже в годах, и сколько бы мы ни старались приноровиться к возрасту Бэби, ей всегда приходилось вести при нас чересчур, так сказать, взрослое существование. Случалось ей прихворнуть, и врачи не раз говорили нам, что для нее весьма полезна как можно более частая перемена климата и воздуха, особенно в нынешнюю пору ее жизни, – а также советовали заботиться о том, чтобы она не скучала. Вот мы и колесим по всему свету, благо я уже теперь не должен с утра до вечера стоять за конторкой в банке (хотя молодые мои годы прошли в бедности, иначе, смею вас уверить, я женился бы на миссис Миглз гораздо раньше). По этой причине вы имели возможность встретить нас в Египте, где мы исправно обозревали пирамиды, сфинксов, пустыню и все, что еще полагается; и по этой же причине Тэттикорэм суждено со временем превзойти по части путешествий самого капитана Кука.

– Я вам от души признателен за доверие, которое вы мне оказали своим рассказом, – сказал его слушатель.

– Не стоит благодарности, – возразил мистер Миглз, – мне это и самому было приятно. А теперь, мистер Кленнэм, позвольте в свою очередь задать вам вопрос: решили вы наконец, куда направитесь отсюда?

– Правду сказать, нет. Такому перекаати-полю, как я, все равно, куда ни понесет его ветер.

– Не взыщите за непрошеное вмешательство, но почему бы вам не поехать прямо в Лондон, – сказал мистер Миглз тоном доверенного советчика.

– Возможно, так оно и случится.

– Вы говорите, словно это не зависит от вашей воли.

– А у меня нет воли – точнее сказать, – он слегка покраснел, – нет того, что могло бы сейчас определять мои поступки. Я с детства привык чувствовать над собою деспотическую власть; получил воспитание, которое не сделало меня гибким, а попросту сломило; потом меня

заковали в цепи долга, который был навязан мне извне и который навсегда остался мне чуждым; в двадцать лет, прежде чем я получил право располагать собой, меня услали на другой конец света и держали там в изгнании вплоть до кончины моего отца, что произошло год тому назад; всю жизнь я тянул ляжку, которая мне была ненавистна, – так чего же от меня ждать теперь, когда молодость уже осталась позади? Воля, надежда, цель... Все эти огни погасли для меня раньше, нежели я научился произносить их названия.

– Так зажгите их снова, – сказал мистер Миглз.

– А! Легко сказать! Мои родители, мистер Миглз, были очень суровые люди. Отец и мать, чьим единственным сыном я был, привыкли все взвешивать, измерять и оценивать на деньги; и то, что нельзя было взвесить, измерить и оценить, для них попросту не существовало. Таких людей принято именовать благочестивыми, но мрачная религия, ими исповедуемая, сводится, в сущности, к угрюмой сделке с небом: они приносят в жертву вкусы и склонности, которыми никогда не обладали, и рассчитывают получить взамен гарантию сохранности своих земных благ. Строгие лица, железные правила, наказания в этом мире и угроза возмездия в будущем, ничего светлого, радостного вокруг и щемящая пустота внутри – вот мое детство, если можно злоупотребить этим словом для обозначения столь унылого начала жизни.

– Неужто в самом деле? – отозвался мистер Миглз, чье воображение весьма тягостно поразила развернутая перед ним картина. – Начало неутешительное, что и говорить. Но полно об этом. Будьте человеком практическим, мистер Кленнэм, и постарайтесь воспользоваться всем тем хорошим, что еще у вас впереди.

– Если бы те, кого принято именовать людьми практическими, соответствовали вашему представлению о них...

– А они и соответствуют, – сказал мистер Миглз.

– Вы в этом уверены?

– А разве может быть иначе? – возразил мистер Миглз в некотором раздумье. – Люди практические – это люди практические, и мы с миссис Миглз именно таковы.

– В таком случае, – сказал Кленнэм с обычной своей печальной улыбкой, – мое будущее обещает сложиться легче и приятнее, чем я мог бы ожидать. Но кончим этот разговор. Вон и катер подходит.

Катер был битком набит теми самыми треуголками, к которым, в силу национального предубеждения, столь неприязненно относился мистер Миглз. Обладатели голов, на которых сидели упомянутые треуголки, сошли на берег и по крутым ступеням поднялись к бараку, где уже толпились истомившиеся ожиданием пленники. Началось хлопотливое выправление бумаг, выкликались имена, скрипели перья, стучали печати, шелестели марки, лились чернила, шуршал песок, и в качестве плода всей этой деятельности являлось на свет нечто размазанное, шероховатое и неудобочитаемое. В конце концов положенные формальности были исполнены и путешественников отпустили на все четыре стороны.

В своем наслаждении вновь обретенной свободой они не обращали внимания на сверкающий зной. Разноцветные шляпки помчали их по водам гавани, и вскоре они вновь собрались все вместе в большом отеле, где закрытые жалюзи преграждали доступ солнцу, а каменные плиты, которыми были вымощены полы, высокие потолочные своды и длинные гулкие коридоры умеряли нестерпимую жару. Там в парадной зале накрыт был парадный стол, поражавший глаз изобилием и великолепием; и все невзгоды карантина показались вскорости далекими и ничтожными среди изысканных закусок, прохладных напитков, заморских фруктов, цветов из Генуи, снега с горных вершин и радужных переливов света в зеркалах.

– Я, кажется, уже без всякой злобы вспоминаю эти унылые стены, – заявил мистер Миглз. – Когда уезжаешь, всегда начинаешь относиться снисходительно к местам, которые ты покинул. Подозреваю, что даже арестант, освободившись из заключения, перестает ненавидеть тюремную камеру.

За столом сидело человек тридцать, и все оживленно беседовали, причем естественно, что разговор шел по преимуществу между ближайшими соседями. Супруги Миглз и их дочь, сидевшая между ними, занимали крайние места по одну сторону стола; их визави были мистер Кленнэм, высокий француз с бородой и волосами цвета воронова крыла, в чьем облике было нечто мрачное и устрашающее, даже демоническое (впрочем, на поверку он оказался кротчайшим из людей), и красивая молодая дама, англичанка, от надменного взгляда которой, казалось, ничто не могло укрыться; она путешествовала в одиночестве и то ли намеренно сторонилась других пассажиров, то ли другие пассажиры сторонились ее – никто не мог бы сказать с уверенностью, кроме разве ее самой. Прочее общество являло собой обычную в таких случаях смесь. Путешествующие по деловым надобностям и путешествующие для удовольствия; военные из Индии, едущие в отпуск; негодяи из Греции и Турции; англиканский священник в одежде, похожей на смирительную рубашку, совершающий свадебное путешествие с молодой женой; семейство английских патрициев, состоящее из величественных папеньки с маменькой и трех недозрелых дочек, которые ведут путевой дневник на пагубу ближним; еще одна английская мамаша, старая и тугоухая, но неутомимая путешественница, а при ней вполне, даже чересчур зрелая дочка, прилежно срисовывающая в свой альбом пейзажи всех пяти частей света в надежде когда-нибудь дорисоваться до замужества.

Замкнутая англичанка подхватила последнее замечание мистера Миглза.

– Так, по-вашему, для арестанта возможно забыть свою тюрьму? – спросила она веско и с расстановкой.

– Это лишь мое предположение, мисс Уэйд. Не могу утверждать, что мне во всех тонкостях знакомы чувства арестанта. Я, признаться, попал под арест впервые в жизни.

– Мадемуазель сомневается, что забывать так легко? – вставил француз на своем родном языке.

– Сомневаюсь.

Бэби пришлось перевести сказанное мистеру Миглзу, который никогда и ни при каких обстоятельствах не усваивал ни единого слова из языка страны, по которой путешествовал.

– Вот как! – сказал он. – Ай-я-яй! Это очень жаль!

– Что я не легковерна? – спросила мисс Уэйд.

– Нет, не то. Вы меня неправильно поняли. Жаль, когда человек не верит, что зло можно забыть.

– Жизненный опыт, – спокойно возразила мисс Уэйд, – поправил некоторые мои представления, основанные на вере. Говорят, это в природе человека – с годами становиться умнее.

– Ну, ну! А быть злопамятным – тоже в природе человека? – добродушно осведомился мистер Миглз.

– Я знаю одно: если бы мне пришлось томиться и страдать в неволе, я на всю жизнь возненавидела бы место своего заточения, мне хотелось бы сжечь его, снести с лица земли.

– Крепко сказано, сэр? – заметил мистер Миглз француз; кроме всего прочего, мистер Миглз имел обыкновение обращаться к лицам любой национальности на английском языке, в блаженной уверенности, что все они обязаны каким-то таинственным образом понимать его. – Наша прекрасная спутница довольно решительна в своих стремлениях, вы не находите?

Француз вежливо откликнулся: «Plait il?» – что мистер Миглз счел вполне удовлетворительным ответом и заключил, очень довольный:

– Вот именно. Я того же мнения.

Завтрак явно затягивался, и мистер Миглз обратился к присутствующим с речью. Для застольной речи она была довольно краткой, разумной и задушевной. Ее содержание сводилось к тому, что, дескать, случай свел их всех вместе, и прожили они дружно и весело, а теперь им предстоит разъехаться в разные стороны и едва ли когда-нибудь они еще соберутся все вместе, а потому не пора ли им пожелать друг другу счастливого пути и всем столом выпить за это

шампанского на прощанье? Так и было сделано, и после долгих перекрестных рукопожатий вчерашние спутники расстались навсегда.

Одинокая дама за все время не сказала больше ни слова. Она встала из-за стола вместе со всеми, но тут же отошла в дальний угол залы и, усевшись на диванчик в оконной нише, как будто залюбовалась игрой серебряных отсветов воды на планках жалюзи. Она сидела спиной ко всем прочим в зале, словно хотела подчеркнуть свое намеренное и гордое уединение. Но, как всегда, трудно было бы с уверенностью сказать, она ли избегает других или другие ее избегают.

От того, что она сидела в тени, лицо ее было словно окутано темной вуалью, и это как нельзя более шло к характеру ее красоты. Изогнутые черные брови оттеняли лоб, обрамленный черными волосами, и каждому, кто глядел на это холодное и презрительное лицо, невольно хотелось представить его себе с иным, изменившимся выражением. Казалось почти невозможным, чтобы на нем вдруг появилась добрая, ласковая улыбка. Казалось, оно лишь может нахмуриться гневно или вызывающе, и почему-то именно такой перемены ждал каждый внимательный наблюдатель. Деланные, искусственные выражения были чужды этому лицу. Его нельзя было назвать открытым, но и фальши в нем не было. «Я верю только в себя и полагаюсь только на себя; ваше мнение для меня ничего не значит; вы меня не интересуете, не трогаете, я смотрю на вас и слушаю вас с полным равнодушием», – вот что совершенно явственно читалось на этом лице. Это говорили гордые глаза, вырезные ноздри, красивый, но плотно сжатый и почти жестокий рот. Пусть любые две из этих черт были бы скрыты от наблюдения – третья достаточно ясно сказала бы то же самое. Пусть бы все лицо спряталось под маской – по одному повороту головы можно было бы угадать неукротимую натуру этой женщины.

К оконной нише подошла Бэби (Миглзы и мистер Кленнэм были последними, кто еще оставался в зале, и разговор у них только что шел именно об одинокой путешественнице).

– Мисс Уэйд... – та вскинула на нее глаза, и смутившаяся Бэби с трудом пролепетала свой вопрос: – Вы кого-нибудь... кто-нибудь должен вас встретить?

– Меня? Нет.

– Мой отец сейчас посылает на почту, за письмами до востребования. Угодно ли вам, чтобы он наказал посланному справиться, нет ли писем на ваше имя?

– Поблагодарите вашего отца, но я не жду никаких писем.

– Мы боимся, – с застенчивым участием сказала Бэби, присаживаясь рядом, – не будет ли вам тоскливо тут одной, когда мы все разъедемся.

– Вы очень любезны.

– То есть, разумеется, – поправилась Бэби, чувствуя себя неловко под взглядом мисс Уэйд, – не такое уж мы интересное для вас общество, и не так уж часто вы бывали в нашем обществе, и не так уж мы были уверены, что оно вам приятно.

– Я никогда не давала повода думать, что мне приятно ваше общество.

– Да, да. Разумеется. Но – одним словом, – сказала Бэби, робко дотрагиваясь до руки мисс Уэйд, неподвижно лежавшей на диванчике, – может быть, вы все-таки позволите моему отцу чем-нибудь помочь вам? Он будет очень рад.

– Очень рад, – подтвердил мистер Миглз, подходя к ним вместе со своей женой и Кленнэмом. – Готов с наслаждением оказать вам любую услугу, если только при этом не потребуются говорить по-французски.

– Весьма признательна, – отвечала мисс Уэйд, – но мои распоряжения уже сделаны, и я предпочитаю во всем полагаться на себя и ни от кого не зависеть.

«Скажите пожалуйста! – мысленно удивился мистер Миглз, внимательно глядя на нее. – Вот это женщина с характером».

– Я не слишком привыкла к обществу молодых дам и боюсь, что не сумею оценить его должным образом. Счастливого вам пути. До свидания.

Она, видимо, собиралась ограничиться словесным прощанием, но мистер Миглз столь решительно протянул ей руку, что не заметить этого нельзя было. Ее рука легла на его ладонь и осталась лежать там так же неподвижно, как до того лежала на диване.

– До свидания, – сказал мистер Миглз. – Ну, теперь все прощанья окончены: мистеру Кленнэму мы с мамочкой уже пожелали счастливого пути, и теперь ему только осталось сказать «до свидания» Бэби. Всего наилучшего! Кто знает, приведется ли когда-нибудь встретиться.

– Кому суждено с нами встретиться в жизни, с теми мы непременно встретимся, какими бы сложными и далекими путями ни шли они, – был сдержанный ответ, – и как нам назначено поступить с ними или им с нами, так все и совершится.

Слова ее неприятно поразили слух Бэби. Тон, которым они были произнесены, словно предвещал, что совершиться должно непременно что-то дурное. «Ох, папочка!» – испуганным шепотком сказала девушка и совсем по-ребячьи попятилась ближе к отцу. Это не укрылось от глаз мисс Уэйд.

– Вашу хорошенькую дочку, – сказала она, – бросает в дрожь от подобной мысли. А между тем, – и она вперила в Бэби глубокий, пристальный взгляд, – где-то есть люди, которым назначено вмешаться в *вашу* жизнь, и они уже готовятся выполнить свое назначение. Можете не сомневаться, что они его выполнят. Быть может, эти люди еще далеко, за сотни и тысячи миль морского пути; быть может, они уже совсем близко; быть может, они обретаются среди самых жалких подонков этого города, куда мы попали проездом, – вам этого не узнать и не изменить.

Она более чем холодно распрощалась со всеми и с тем усталым выражением, от которого ее красота казалась блекнувшей, хотя и находилась в самом расцвете, покинула залу.

Для того чтобы из этой части обширного помещения гостиницы попасть в отведенную ей комнату, мисс Уэйд нужно было пройти целый лабиринт лестниц и коридоров. Под самый конец этого сложного перехода, когда она уже очутилась в галерее, куда выходила ее комната, внимание ее вдруг привлекли чьи-то сердитые выкрики и рыдания. Одна из дверей была приотворена, и, проходя мимо, она увидела служанку семейства, с которым только что рассталась, – обладательницу столь странного имени.

Мисс Уэйд остановилась, с интересом наблюдая за девушкой. Строптивая и горяча, сразу видно! Густые черные волосы в беспорядке рассыпались у нее по плечам, лицо горело, губы распухли от слез и от того, что, захлебываясь яростью, она поминутно дергала их беспощадной рукой.

– Черствые, бессердечные люди! – приговаривала девушка, задыхаясь и всхлипывая после каждого слова. – Бросили меня тут и думать забыли. Я умираю от голода, от жажды, от усталости, а им и горя мало! Изверги! Чудовища! Звери!

– Что с вами, бедняжка?

Она подняла свои красные заплаканные глаза, и ее руки повисли в воздухе, не дотянувшись до шеи, усеянной сине-багровыми пятнами от щипков, которыми она себя щедро награждала.

– А вам какое дело, что со мной? Никого это не касается!

– Почему вы так думаете? Мне очень неприятно видеть вас в слезах.

– Вовсе вам это не неприятно, – сказала девушка. – Вы даже рады этому. Да, рады. Со мной такое было только два раза в карантинном бараке; и оба раза вы меня заставляли врасплох. Я вас боюсь.

– Бойтесь?

– Да, боюсь. Вы всегда являетесь, как будто я вас накликала своим гневом, своей злостью, своей – не знаю как это назвать. А плачу я, потому что со мной дурно обращаются, да, дурно, дурно, дурно! – Тут рыдания возобновились, слезы полились обильнее, а руки принялись за свое прерванное занятие.

Свидетельница этой сцены созерцала ее со странной многозначительной усмешкой. И в самом деле, любопытно было наблюдать, как девушка, раздираемая яростной борьбой страстей, корчится и истязает себя, словно в нее, как бывало встарь, вселились бесы.

– Я двумя или тремя годами моложе ее, а между тем я должна ходить за ней, как старая нянька, а ее все ласкают, милуют, зовут деточкой! Ненавижу все эти ласковые прозвища! И ее ненавижу тоже! Они из нее дурочку делают своим баловством. Она думает только о себе, больше ни о ком; я для нее все равно что стул или стол! – Казалось, жалобам не будет конца.

– Нужно смириться.

– А я не хочу смириться!

– Если ваши хозяева заботятся лишь о себе, пренебрегая вашими нуждами, вы не должны роптать на это.

– А я хочу роптать!

– Тсс! Будьте благоразумны. Вы забываете о своем зависимом положении.

– А мне все равно. Я убегу. Я натворю бед. Я не буду больше терпеть, не буду! Я умру, если попробую потерпеть еще.

Свидетельница, приложив руку к груди, смотрела на девушку с тем острым любопытством, с которым человек, пораженный тяжелой болезнью, следил бы за вскрытием и препарированием мертвеца, умершего от той же болезни.

А девушка еще долго металась и бушевала со всем пылом молодости и неизрасходованных жизненных сил; но мало-помалу ее страстные вопли уступили место прерывистым жалобным стонам, словно от боли. Она упала в кресло, потом соскользнула на колени и, наконец, повалилась на пол у кровати, стащив с нее покрывало, то ли чтобы спрятать в его складках пылающее от стыда лицо и мокрые волосы, то ли из потребности хоть что-нибудь прижать к стесненной раскаянием груди.

– Уходите! Уходите! Когда на меня такое накатит, я теряю рассудок. Я знаю, что могу сдержаться, если соберу все силы; иногда я стараюсь, и мне это удается, а иногда не хочу стараться. Что я тут наговорила? Ведь я отлично знала, что говорю неправду. Они уверены, что обо мне позаботились и у меня есть все, что мне нужно. Ничего кроме добра я от них в жизни не видела. Я люблю их всем сердцем; они сделали для меня больше, чем заслужила такая неблагодарная тварь, как я. Уходите, оставьте меня, я вас боюсь. Я боюсь себя, когда чувствую, что готова впасть в бешенство, и точно так же боюсь вас. Уходите, дайте мне поплакать и помолиться, и мне станет легче.

День подошел к концу, снова иссяк палящий зной, и душная ночь спустилась над Марселем; утренний караван разбрелся, и каждый в одиночку продолжал назначенный ему путь. Вот так и все мы, путники, не знающие покоя, свершаем свое земное странствие, изо дня в день, из ночи в ночь, при солнце и при звездах, взбираемся на горы и устало бредем по долинам, встречаемся, и расходимся, и сталкиваемся вновь в неисповедимом скрещении судеб.

Глава III

Дома

Был лондонский воскресный вечер – унылый, тягостный и душный. В оглушительной какофонии церковных колоколов сталкивались мажор и минор, дребезжание и гул, залихватый трезвон и мерные удары, и, подхваченное каменным эхом домов, все это нестерпимо резало уши. Меланхолическое зрелище улиц в траурных балахонах из сажи надрывало душу людям, обреченным на жестокую необходимость созерцать это зрелище из окна. В каждом проезде, в каждом тупике, на каждом перекрестке дрожал, стонал, бился в воздухе скорбный звон, словно город был во власти чумы и по улицам тянулись повозки с трупами. Все то, на чем изнуренный работой человек мог бы хоть сколько-нибудь отвести душу, было тщательно и надежно заперто на замок. Ни картин, ни диких животных, ни редких цветов или растений, ни природных или искусственных чудес Древнего мира – на все это просвещенный разум наложил табу, нерушимой твердости которого могли бы позавидовать безобразные божки диких племен в Британском музее. Не на что кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Нечем разогнать тоску и неоткуда набраться бодрости. Только и остается усталому труженику, что сравнивать унылое однообразие седьмого дня недели с унылым однообразием шести остальных, размышлять о своей горькой жизни и утешаться этим – или огорчаться, что более вероятно.

В этот приятный вечер, столь полезный для укрепления религии и нравственности, мистер Артур Кленнэм, только что прибывший из Марселя через Дувр, откуда его доставил дуврский дилижанс, так называемая «Синеокая красотка», сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл. Вокруг него было десять тысяч респектабельных домов, так хмуро глядевших на улицы, их обтекавшие, словно в каждом из них проживали те десять юношей из «Тысячи и одной ночи», которые по ночам вымазывали себе лица грязью и в горестных воплях оплакивали свои невзгоды. Вокруг него было пятьдесят тысяч жалких лачуг, где люди жили в такой тесноте и грязи, что чистая вода, в субботу вечером налитая в кувшин, в воскресенье утром уже не годилась к употреблению; хотя его милость, депутат от их округа, удивлялся, отчего это им не спится среди запахов лежалой говядины и баранины. На целые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись дома, похожие на колодцы или шахты, дома, обитатели которых всегда задыхались от недостатка воздуха. Через весь город, вместо красивой, прохладной реки, катила свои мутные воды сточная канава. Какие же мирские желания могли в день седьмой волновать миллион с лишним человеческих существ, шесть дней гнувших спину среди всех этих аркадских радостей, от сладостного постоянства которых им некуда было спастись с колыбели до гроба? Недремлющее око полиции – вот, разумеется, и все, что им требовалось.

Мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл, прислушиваясь к звону ближайшего колокола, машинально подбирая ему в такт слова и припевы, и думал: сколько найдется за год слабых здоровьем людей, чью кончину ускорит это испытание? По мере того как приближался час начала церковной службы, колокол все чаще менял свой голос и от этого все неотвязней лез в уши. Когда осталось четверть часа, он забил с оживленно-мертвящей настойчивостью, торопя население *в божий храм, в божий храм, в божий храм*. Когда осталось десять минут, он увидел, что прихожане собираются туго, и, приуныв, стал глухо взывать: *ждем вас, ждем вас, ждем вас*. Когда осталось только пять минут, он потерял всякую надежду и все триста секунд сотрясал окрестные дома мрачными ударами, по одному в секунду, похожими на стон отчаяния.

– Слава богу! – сказал Кленнэм, когда время истекло и колокол умолк.

Но под этот звон ожили в его памяти многие печальные воскресенья прошлого, и мрачная вереница воспоминаний продолжала тянуться перед его мысленным взором даже и после того, как наступила тишина.

– Господи, прости меня, – сказал он, – и тех, кто был моими воспитателями, тоже. Как я ненавидел всегда этот день!

Вот мрачное воскресенье из его детства: он сидит, оступев от страха, над чудовищным трактатом, который еще в заглавии огорошивал несчастного ребенка вопросом, почему он идет к гибели (каковую любознательность существо в штанишках и курточке не в силах было удовлетворить), а в самом тексте, в качестве особого развлечения для младенческого ума, содержал через каждые две строки икающую ссылку в скобках, вроде: 2 посл. к Фесс., гл. III, ст. 6 и 7. Вот унылое воскресенье из его отрочества: трижды в день, под конвоем учителей, точно дезертир, он марширует в церковь, скованный с другим таким же мальчиком невидимыми наручниками нравственного долга; и думает о том, как охотно обменял бы две порции неудобоваримой церковной проповеди на лишний кусочек тощей баранины, предназначенной для насыщения его плоти за обедом. Вот бесконечное воскресенье из его юности: мать его, женщина суровая лицом и непреклонная душой, целый день сидит, загородясь большой Библией, облеченной, как и ее представления о ней, в твердый, негнувшийся, точно деревянный переплет, без всяких украшений, если не считать одной-единственной завитушки в углу, похожей на звено цепи, да зловеще багрового обреза; словно эта – именно эта! – книга должна была служить оплотом против всяких изъявлений ласки, душевного тепла и попыток дружеской беседы. Вот тягостное воскресенье из более поздних лет: угрюмый и мрачный, он не знает, как скоротать затянувшийся день, и в сердце у него горькое чувство обиды, а душеспасительная сущность Нового Завета так же далека от него, как если бы он вырос среди идолопоклонников. Много, много воскресений медленно проплывали перед мысленным взором Кленнэма, и все это были дни неумной тоски и неизгладимого унижения.

– Прошу прощенья, сэра, – прервал его мысли шустрый слуга, смахивая крошки со столика. – Желаете посмотреть номер?

– Да. Я как раз об этом думал.

– Коридорная! – закричал слуга. – Седьмой стол желают посмотреть номер.

– Нет, нет! – воскликнул Кленнэм, опомнясь. – Я ответил машинально, не сознавая, что говорю. Я не собираюсь ночевать здесь. Я пойду домой.

– Слушаю, сэра. Коридорная! Седьмой стол не желают смотреть номер. Пойдут домой.

День угасал, а он все еще сидел на том же месте, смотрел на хмурые фасады домов по другую сторону улицы и думал: если бестелесные ныне души прежних обитателей смотрят сюда с высоты, как им должно быть грустно, что вся их земная жизнь прошла в этих мрачных узилищах. Порой где-нибудь за мутным оконным стеклом появлялось человеческое лицо и тут же вновь исчезало во мраке, как будто достаточно насмотрелось на жизнь и спешило уйти от нее. Вдруг косые полосы дождя исчертили пространство, отделявшее Кленнэма от этих домов, застигнутые врасплох пешеходы спешили укрыться в соседних подворотнях и сокрушенно поглядывали оттуда на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее. Появились мокрые зонтики, заляпанные подола, потеки грязи. Непонятно было, откуда вдруг вылезла вся эта грязь, где она пряталась раньше. Казалось, она собралась мгновенно, как собирается уличная толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и дочерей Адамовых. Фонарщик уже совершал свой обход, и язычки пламени, вспыхивавшие от его прикосновения, словно удивлялись, как это им позволили расцветить яркими пятнами столь неприглядную картину.

Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнулся на все пуговицы и вышел. В деревне воздух после дождя наполнился бы благоуханной свежестью и на каждую упавшую каплю земля откликнулась бы новым и прекрасным проявлением жизни. В городе дождь только уси-

ливал дурные, тошнотворные запахи да переполнял водостоки мутной, тепловатой, жирной от грязи водой.

У собора Св. Павла Кленнэм перешел на другую сторону и обходным путем стал спускаться к реке через целый лабиринт крутых, извилистых улочек (в те годы еще более извилистых и тесных), между набережной и Чипсайдом. Он проходил то мимо покрытых плесенью стен, за которыми в старину собиралось какое-нибудь благочестивое общество, то мимо освещенного фасада церкви без прихожан, словно ожидающей, когда какой-нибудь предприимчивый Бельцони откопает ее и ее историю; он шел, минуя наглухо запертые ворота причалов и складов, пересекая узкие переулки, где порой на сырой стене плакал жалкий, намочивший лоскут объявления со словами: «Найдено тело утопленника...» – и, наконец, очутился у того дома, который ему был нужен. Это был старый, закоптелый почти до черноты кирпичный особняк, одиноко стоявший в глубине двора. Перед ним был квадратный палисадник – два-три куста и полоска газона, настолько же заросшая сорной травой, насколько железная ограда вокруг была покрыта ржавчиной (а значит – довольно основательно); за ним уходило вдаль нагромождение городских крыш. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами в массивных рамах. Много лет назад он обнаружил намерение свалиться набок; его спешно подперли, чтобы этого не случилось, и так он и стоял с тех пор, опираясь на полдюжины гигантских костылей, однако теперь вид этого сооружения – излюбленного пристанища соседских кошек, – подгнившего от дождей, замшелого от времени и почерневшего от дыма, не внушал особого доверия.

– Все по-старому, – сказал путешественник, остановившись и глядя на дом. – Так же мрачно и так же уныло. И матушкино окно освещено, словно в нем и не гасили света с той поры, как я, бывало, дважды в год возвращался на каникулы домой и проходил здесь, волоча свой сундучок по тротуару. Так, так, так...

Он подошел к двери, над которой был навес, украшенный резьбой в виде развешанных полотенец и детских головок со всеми признаками водянки мозга – очень модный в свое время узор; подошел и постучал. Послышались шаркающие шаги по каменным плитам пола, дверь отворилась, и на пороге показался старик со свечой в руке, сухой и сторбленный, но с острыми, пронзительными глазами.

Он поднял свечу повыше, вглядываясь этими пронзительными глазами в посетителя.

– А, мистер Артур, – сказал он без всякого волнения. – Приехали наконец? Входите.

Мистер Артур вошел и закрыл за собой дверь.

– Вы пополнели, раздались в плечах, – заметил старик, оглядывая его при свете той же свечи и медленно качая головой, – но все-таки далеко вам до вашего отца. И до матушки тоже.

– А как матушкино здоровье?

– Так же, как и все эти годы. Когда она не прикована к постели болями, то просто сидит у себя в комнате. За пятнадцать лет она едва ли пятнадцать раз ступила за порог этой комнаты, Артур. – Они вошли в неприятную, скудно обставленную столовую. Старик поставил подсвечник на стол, подпер правый локоть левой рукой и, поглаживая свой пергаментный подбородок, внимательно уставился на гостя. Гость протянул ему руку. Старик дотронулся до нее без особого пыла; собственный подбородок явно был ему куда приятнее, и при первой возможности он предпочел ухватиться за него снова.

– Не знаю, Артур, понравится ли вашей матушке, что вы для своего возвращения выбрали день воскресный, – с сомнением сказал он, покачивая головой.

– Что же, вам угодно, чтобы я ушел?

– Кому, мне? Мне? Я здесь не хозяин. Что угодно *мне*, никакого значения не имеет. Много лет я становился между вашей матерью и вашим отцом, ослабляя столкновения между ними. Но я не намерен теперь становиться между вашей матерью и вами.

– Пожалуйста, скажите матушке, что я вернулся.

– Сейчас, Артур, сейчас. Ну как же! Сию минуту пойду и доложу ей о вашем возвращении. А вы пока подождите здесь, в столовой. Здесь, как видите, ничего не изменилось. – Он достал из буфета другую свечу, зажег ее и, оставив подсвечник на столе, пошел исполнять поручение.

Старик был небольшого роста, с плешью во всю голову; на нем был черный сюртук с высокими плечами, черный жилет, темно-серые панталоны и такие же темно-серые гетры. По платью его можно было принять то ли за слугу, то ли за конторщика; да он и соединял в своем лице долгие годы то и другое. Единственным украшением его особы служили часы, опущенные в недра специального кармашка на ветхой черной тесемке; потускневший от времени медный ключик, прицепленный к той же тесемке, указывал место погружения. Голову он постоянно держал набок, и весь он был какой-то кривой, скособоченный, как будто фундамент у него осел на одну сторону тогда же, когда это случилось с домом, и тоже нуждался в подпорках.

– Слабый же я человек, – сказал себе Артур Кленнэм после его ухода, – если подобный прием мог вызвать у меня слезы. Разве когда-нибудь я встречал здесь иной прием? Разве я мог ожидать иного?

Но слезы и в самом деле навернулись у него на глаза. Сказалась на мгновение натура человека, который с самой зари жизни привык терпеть разочарования, но все же не утратил окончательно способности надеяться. Но Артур подавил в себе это движение души, взял свечу и принялся осматривать комнату. Та же старая мебель стояла на тех же местах. На стенах, в рамках под стеклом висели гравюры, изображавшие «Казни египетские», в которых трудно было что-нибудь разобрать по причине казней лондонских – копоты и мух. В углу стоял знакомый поставец со свинцовой прокладкой внутри, пустой, как всегда, похожий на гроб с перегородками; а рядом был знакомый темный чулан, тоже пустой; в свое время Артура не раз запирали сюда в наказание за какую-нибудь провинность, и в такие дни чулан казался ему преддверием того места, куда он спешил со всех ног, по мнению упомянутого выше трактата. На буфете по-прежнему красовались большие, каменнолицые часы; они как будто злорадно подмигивали ему из-под своих нарисованных бровей, если он не успевал вовремя приготовить уроки, а когда раз в неделю их заводили железным ключом, они издавали свирепое рычание, словно предвкушая все невзгоды, которые им предстояло возвестить. Но тут в столовую вошел старик и сказал:

– Идемте, Артур; я пойду вперед и посвечу вам.

Следуя за ним, Артур поднялся по лестнице, вдоль которой тянулась панель, разделенная на квадраты, отличавшиеся большим сходством с могильными плитами, и вошел в полуосвещенную спальню, пол которой настолько осел и покосился, что камин оказался как бы в низине. В этой же низине стоял черный, похожий на катафалк, диван, и на нем, прислонясь к большому твердому черному валику, точному подобию плахи, на которой в доброе старое время совершались публичные казни, сидела его мать в траурной вдовьей одежде.

Сколько он себя помнил, между отцом и матерью всегда шли нелады. Самое мирное времяпровождение его раннего детства состояло в том, что он молча сидел в комнате, где царил напряженная тишина, и со страхом переводил взгляд с одного отвернувшегося в сторону лица на другое. Мать коснулась его лба ледяным поцелуем и протянула четыре негнущихся пальца в шерстяной митенке. Когда с этим нежным приветствием было покончено, Артур уселся против нее за маленький столик, стоявший перед диваном. В камине горел огонь, как горел днем и ночью уже пятнадцать лет. На огне стоял чайник, как стоял днем и ночью уже пятнадцать лет. Поверх угля высился маленький холмик мокрой золы, и другой такой же холмик виднелся внизу, под решеткой, как бывало днем и ночью уже пятнадцать лет. В комнате, лишенной доступа свежего воздуха, пахло разогретой черной краской, как пахло от вдовьего крепа уже пятнадцать месяцев и от катафалкоподобного дивана уже пятнадцать лет.

– Я привык вас видеть более живой и деятельной, матушка.

– Мир для меня замкнулся в этих четырех стенах, Артур, – ответила она, обводя глазами комнату. – Хорошо, что его суета и тщеславие никогда не были близки моей душе.

Ее взгляд, знакомый звук сурового, властного голоса так подействовали на сына, что он вновь, как в детстве, ощутил непреодолимую робость и желаниежаться в комок.

– Значит, вы никогда не покидаете этой комнаты, матушка?

– Мой ревматизм и сопутствующий ему упадок сил или нервное расстройство – не в названии дело – привели к тому, что я перестала владеть ногами. Да, я никогда не покидаю этой комнаты. Я не переступала ее порога уже... скажи ему сколько, – бросила она кому-то через плечо.

– О Рождестве будет двенадцать лет, – отозвался из темного угла слабый, надтреснутый голос.

– Неужели это Эффери? – спросил Артур, оглядываясь на звук.

Надтреснутый голос подтвердил, что это действительно Эффери, и вслед за тем в освещенное, вернее, полуосвещенное пространство перед диваном вышла старая женщина; она приветствовала Артура, приложив кончики пальцев к губам, и тотчас же снова отступила в темноту.

– Благодарение Богу, – сказала миссис Кленнэм, слегка поведя рукой в сторону кресла на колесах, стоявшего перед высоким бюро с наглухо запертой крышкой, – благодарение Богу, я все же могу заниматься делами. Это большое счастье. Но не будем говорить о делах в воскресенье. Что, погода дурная?

– Да, матушка.

– Идет снег?

– Снег, матушка? Да ведь еще только сентябрь на дворе.

– Для меня все времена года одинаковы, – ответила она с оттенком какого-то мрачного самодовольства. – Сидя здесь, в четырех стенах, я не знаю ни зимы, ни лета. Богу было угодно сделать так, чтобы все это меня не касалось.

Холодный взгляд ее серых глаз, холодная седина волос, неподвижность черт, таких же застывших, как каменные складки на оборке чепца, – все это внушало мысль, что ей, не ведающей смены простых человеческих чувств, естественно было не замечать смены времен года.

На столике перед нею лежали две или три книги, носовой платок, только что снятые очки в стальной оправе и старомодные золотые часы в массивном двойном футляре. На этот последний предмет были теперь устремлены глаза и матери и сына.

– Я вижу, матушка, что посылка, которую я вам отправил после смерти отца, благополучно дошла по назначению.

– Как видишь.

– Отец очень беспокоился о том, чтобы эти часы были незамедлительно отосланы вам. Мне никогда прежде не случалось видеть, чтобы он так беспокоился о чем-либо.

– Я храню их здесь на память о твоём отце.

– Он высказал мне свое пожелание уже в самые последние минуты. Когда он только и мог, что положить на эти часы руку и невнятно пролепетать: «Твоей матери». Минутой раньше мне казалось, что он бредит – за время своей недолгой болезни он часто впадал в беспамятство и, должно быть, благодаря этому не чувствовал боли, – но тут я вдруг увидел, что он повернулся на бок и силится открыть крышку часов.

– Значит, по-твоему, отец не бредил, когда пытался открыть крышку часов?

– Нет. На этот раз он был в здравом уме и твердой памяти.

Миссис Кленнэм покачала головой; в осуждение ли покойному, или в знак несогласия с мнением сына – осталось не вполне ясным.

– После его смерти я открыл эти часы, надеясь найти там какую-нибудь записку, какое-нибудь распоряжение. Однако, как вы и сами знаете, матушка, ничего подобного там не ока-

залось, только между крышками лежала старенькая шелковая прокладка, вышитая бисером, которую я не стал вынимать; верно, она и теперь лежит на своем месте.

Миссис Кленнэм движением головы подтвердила это; затем она сказала:

– Довольно разговоров о делах в воскресный день, – и добавила: – Эффери, девять часов.

Услышав это, старуха торопливо убрала все со столика перед диваном, затем вышла из комнаты и тотчас же воротилась, неся поднос с тарелкой сухариков и точно отмеренной порцией масла в виде аккуратного, белого, прохладного на вид комочка. Старик, во все время этой беседы неподвижно стоявший у двери, устремив на мать тот же испытующий взгляд, которым недавно смотрел на сына, в свою очередь вышел из комнаты и после несколько более продолжительного отсутствия также воротился с подносом, на котором была початая бутылка портвейну (судя по тому, как он отдувался, ему пришлось спускаться за ней в погреб), лимон, сахарница и ящичек с пряностями. Из всего этого, с прибавлением воды, кипевшей в чайнике, он приготовил горячую ароматную смесь, с аптекарской тщательностью отмеряя в стакан ее составные части. Миссис Кленнэм съела несколько сухариков, макая их в эту смесь; а остальные сухарики старуха намазала маслом, чтобы она могла съесть их отдельно. Когда, наконец, большая доела последний сухарик и допила остаток смеси из стакана, оба подноса с посудой были убраны, а книга, свеча, носовой платок, часы и очки – вновь водворены на столик. После этого миссис Кленнэм вооружилась очками и стала читать вслух из толстой книги, с силой и яростью выражая пожелания, чтобы ее враги (голос и тон не оставляли сомнений в том, что это именно ее личные враги) были преданы огню и мечу, поражены чумой и проказой, чтобы кости их рассыпались в прах и прах был развеян по ветру. Сын слушал ее, и казалось, все прожитые годы отлетели от него как сон и он снова был ребенком, каждый вечер обреченным выслушивать это мрачное напутствие.

Она захлопнула книгу и некоторое время сидела молча, прикрыв глаза рукой. Старик, все в той же позе стоявший у двери, также поднес руку к глазам; то же, должно быть, сделала и старуха в своем темном углу. На этом вечерние приготовления больной закончились.

– Спокойной ночи, Артур. Эффери позаботится о постели для тебя. Только не жми мне руку; ей очень легко причинить боль.

Он осторожно дотронулся до шерстяной митенки, скрывавшей ее ладонь; но что шерсть! даже медный панцирь не мог бы сделать эту мать более неприступной, чем она была для сына, – и, выйдя из комнаты вслед за стариком и старухой, стал спускаться вниз.

Когда они остались вдвоем в столовой, стены которой тонули в густом мраке, старуха спросила, не желает ли он поужинать.

– Нет, Эффери, никакого ужина не надо.

– А то смотрите, – сказала Эффери. – В кладовой есть куропатка, купленная для нее на завтра, – это первая в нынешнем году; скажите только слово, я вам ее мигом изжарю.

Нет, он недавно пообедал, и ему не хочется есть.

– Ну, выпейте чего-нибудь, – настаивала Эффери. – Хотите ее портвейну? Я скажу Иеремии, что вы мне приказали подать бутылку.

Нет; пить он тоже не станет.

– Послушайте, Артур, – шепотом сказала старуха, наклонясь к нему поближе, – пусть я их боюсь до смерти, но ведь вам-то нечего бояться. Ведь половина-то состояния вам принадлежит, верно?

– Верно, верно.

– Ну вот, видите. И умом вас тоже бог не обидел, верно?

Она так явно ждала утвердительного ответа, что ему пришлось кивнуть головой.

– Вот вы и не поддавайтесь им! Она-то до того умна, что у кого ума нет, тот при ней лучше и рта не раскрывай. Ну, а ему ума не занимать стать, это уж будьте покойны! Он когда захочет, так и ее отделает за милую душу!

– Кто, ваш муж?

– А то кто же? Я другой раз услышу, как он ее отделяет, так прямо затрясусь вся с ног до головы. Да, мой муж, Иеремия Флинтвинч, может даже над вашей матерью верх взять. Так не будь у него ума, разве ж бы его хватило на это?

Шаркающие шаги раздались на лестнице, и, заслышав их, она тотчас отбежала в угол. Рослая, угловатая, кряжистая старуха, которая в молодости свободно могла бы записаться в гренадерский полк, не опасаясь разоблачения, она вся съеживалась перед этим похожим на краба человечком с пронзительными глазами.

– Эффери, старуха, о чем ты думаешь? – сказал он. – Неужели до сих пор не могла принести мистеру Артуру чего-нибудь подкрепиться?

Мистер Артур поспешил вновь заявить о том, что не испытывает никакого желания подкрепиться.

– Ну что ж, тогда готовь ему постель, – сказал на это старик. – Да пошевеливайся.

Шея у него была до того искривлена, что концы белого галстука болтались обычно где-то под ухом; в нем непрестанно шла борьба между природной резкостью и живостью и привычкой сдерживать себя, превратившейся во вторую натуру, отчего он то и дело надувался и синел; и все это вместе придавало ему сходство с удавленником, которого кто-то успел вовремя срезать с крюка и который с тех пор так и ходит по свету с петлей и обрывком веревки на шее.

– Завтра вам предстоит неприятное объяснение, Артур, – сказал Иеремия, – я имею в виду объяснение с вашей матушкой. Мы не говорили ей о том, что после смерти отца вы решили выйти из дела, – хотели дождаться вашего приезда; но она догадывается, и это вам так легко не пройдет.

– Я от всего в жизни отказывался ради этого дела, а теперь пришла пора мне отказаться от него самого.

– Очень хорошо! – воскликнул Иеремия, что явно должно было означать «очень плохо!». – Очень хорошо! Но не надейтесь, что я буду становиться между вашей матушкой и вами, Артур. Я постоянно становился между нею и вашим отцом, отводил одни удары, смягчал другие, и это довольно чувствительно отзывалось на моей шкуре; хватит, больше не желаю.

– Я вас никогда и не попрошу об этом, Иеремия.

– Очень хорошо! Рад слышать; потому что, если б и попросили, я бы не согласился. Но, как говорит ваша матушка, довольно толковать о делах в день воскресный – можно сказать предовольно. Эффери, старуха, ты все нашла, что тебе нужно?

Эффери, которая в это время возилась у шкафа, отбирая простыни и одеяла, поспешно сгребла все в охапку и ответила:

– Да, Иеремия.

Артур Кленнэм пожелал старику приятного сна и, взяв у Эффери из рук ее ношу, стал следом за ней подниматься в верхний этаж.

Поднимались они долго, вдыхая затхлый запах старого и почти нежилого дома, пока, наконец, не достигли просторного помещения под самой крышей, предназначенного служить спальней. Обставленное убого и скудно, как и все остальные комнаты в доме, оно выглядело еще непригляднее прочих, так как являлось местом ссылки отслужившей свой век мебели. Здесь были безобразные старые стулья с продавленными сиденьями и безобразные старые стулья вовсе без сидений, ветхий ковер со стершимся узором, хромоногий стол, увечный гардероб, плохонький каминный прибор, состоявший, казалось, из скелетов каких-то давно скончавшихся каминных принадлежностей, умывальник, на котором засохли следы грязной мыльной пены, явно вековой давности, и кровать с четырьмя обглоданными столбиками, такими острыми на концах, что можно было усмотреть в этом проявление некоей зловещей предупредительности на тот случай, если бы кто-нибудь из жильцов вдруг возымел желание посадить самого себя на кол. Артур отворил широкое низкое окно и увидел все тот же знакомый лес

черных от копоти дымовых труб и все то же знакомое красноватое зарево в небе; когда-то, в давно прошедшие времена, он принимал его за ночные отсветы геенны огненной, образ которой преследовал его всюду, куда бы он ни устремлял свое детское воображение.

Он отошел от окна, сел на стул у кровати и стал смотреть, как Эффери Флинтвинч готовится ему постель.

– Эффери, когда я уезжал, вы, кажется, не были замужем.

Она отрицательно покачала головой и принялась надевать наволочку на подушку.

– Как же это вышло?

– Да все Иеремия, понятное дело, – сказала Эффери, зажав уголок наволочки в зубах.

– То есть, я понимаю – он сделал вам предложение; но как все-таки это произошло? Признаться, я никогда не представлял себе, что он вдруг женится или вы выйдете замуж, и уж меньше всего думал, что вы с ним можете пожениться.

– Я и сама не думала, – сказала миссис Флинтвинч, энергично запихивая подушку в наволочку.

– Ну вот, видите. Когда же вам это впервые пришло в голову?

– А мне это никогда и не приходило в голову, – сказала миссис Флинтвинч.

Кладя подушку на место, в изголовье постели, она увидела, что Артур смотрит на нее по-прежнему вопросительно, словно ждет дальнейших разъяснений, и, наградив подушку заключительным пинком, она спросила в свою очередь:

– Как же я могла помешать ему?

– Как вы могли помешать ему жениться на вас?

– Вот именно, – сказала миссис Флинтвинч. – Не моя это была затея. Я об этом и не думала. Слава богу, хватало у меня забот и без того, чтобы мне еще думать о чем-то. Когда она была на ногах (а в ту пору она еще была на ногах), она уж следила за тем, чтобы я не прохлаждалась зря – да и он не отставал от нее.

– И что же?

– Что же? – точно эхо отозвалась миссис Флинтвинч. – Вот это самое я себе тогда и сказала. Что же! Тут гадать нечего. Если они, двое умников, на том порешили, что я-то могу поделаться? Ровно ничего.

– Так, значит, эта мысль принадлежала моей матери?

– Господи помилуй, Артур, – и да простит он мне, что я поминаю его имя всуе! – воскликнула Эффери, все еще полупшепотом. – Да ведь не сойдись они на том оба, разве бы из этого что-нибудь вышло? Иеремия не стал заниматься ухаживаниями; где уж тут, когда столько лет прожили в доме вместе и он всегда командовал мной. Просто в один прекрасный день он мне вдруг и говорит: «Эффери, говорит, я имею вам кое-что сообщить. Скажите, нравится ли вам фамилия Флинтвинч?» – «Нравится ли мне эта фамилия?» – спрашиваю я. «Да, говорит; потому что это теперь будет и ваша фамилия». – «Моя фамилия?» – спрашиваю я. «Иеремии-я!» Да, уж это умник так умник.

И миссис Флинтвинч, видимо считая, что рассказ окончен, принялась опять за постель – разостлала сверху другую простыню, накрыла ее одеялом, а поверх положила еще одно одеяло – стеганое.

– И что же? – снова спросил Артур.

– Что же? – снова отозвалась миссис Флинтвинч. – А как я могла помешать ему? Он приходит ко мне и говорит: «Эффери, мы с вами должны пожениться, и вот почему. Она становится слаба здоровьем, и скоро ей нужен будет постоянный уход, и нам придется много времени находиться при ней, в ее комнате, а когда мы не будем находиться при ней, то мы с вами будем в целом доме одни, и потому, говорит, удобнее, если мы поженемся. Она тоже так считает. Так что потрудитесь в понедельник к восьми часам утра надеть шляпку, и мы пойдем и покончим с этим делом».

Миссис Флинтвинч подоткнула края одеяла.

– И что же?

– Что же? – повторила миссис Флинтвинч. – А как вы думаете? Села я и говорю это самое: «Что же!» А Иеремия мне в ответ: «Кстати, как раз в это воскресенье состоится в третий раз оглашение (я его заказал две недели тому назад), потому-то я и назначаю на понедельник. Она сегодня сама будет с вами говорить, так вот, теперь вы, значит, подготовлены». И в самом деле, в тот же день она со мной завела разговор. «Эффери, говорит, я слышала, что вы с Иеремией собираетесь пожениться. Я очень рада этому, и вы, разумеется, тоже. Это очень хорошо для вас и при данных обстоятельствах очень желательно для меня. Иеремия – человек здравомыслящий, человек положительный, человек твердый, человек благочестивый». Что мне тут оставалось сказать, если уж дошло до дела? Да если б меня не к алтарю собирались вести, а на эшафот (миссис Флинтвинч стоило немалых трудов подобрать это живописное сравнение), мне и то нечего было бы возразить, раз они, умники, оба так порешили.

– Честное слово, я думаю, что вы правы.

– Уж можете не сомневаться, Артур.

– Эффери, а что это за девушка была там, в матушкиной комнате?

– Девушка? – неожиданно громким голосом переспросила миссис Флинтвинч.

– Ну да, рядом с вами, я ее разглядел, хоть она и пряталась в темном углу.

– Ах, это! Крошка Доррит? Да это так, никто. Ее причуда. – Эффери Флинтвинч отличалась одной особенностью: говоря о миссис Кленнэм, она никогда не называла ее по имени. – А вот бывают на свете другие девушки. Помните вы свою старую зазнобу? Наверно, давным-давно позабыли.

– Трудно было бы забыть, после того как я столько выстрадал, когда матушка разлучила нас. Нет, я ее очень хорошо помню.

– И другой не завели за это время?

– Нет.

– Ну так вот вам приятная новость. Она теперь богата и к тому же вдова. Так что, если хотите, можете на ней жениться.

– А откуда вам все это известно, Эффери?

– Они, умники, говорили между собой об этом... Иеремия! Я слышу его шаги на лестнице! – И в одно мгновение она исчезла.

Миссис Флинтвинч вплела последнюю недостававшую нить в тот сложный узор, который его воображение ткало на станке памяти. Когда-то даже в этот унылый дом сумел пробраться безрассудный дух юношеской любви, и ее безнадежность причинила Артуру не меньше страданий, чем если бы дело происходило в каком-нибудь романтическом замке. Хорошенькое личико девушки, с которой он не без сожаления расстался в Марселе всего лишь неделю назад, пробудило в нем непривычный интерес и даже волнение своим подлинным или мнимым сходством с тем лицом, что некогда впервые озарило его беспросветную жизнь ярким сиянием фантазии. Артур оперся ладонями о длинный низкий подоконник и, глядя на лес труб, черневший за окном, погрузился в мечты. Ибо так уж сложилась вся жизнь этого человека – слишком мало было в ней такого, что могло бы дать пищу для размышлений, слишком много такого, о чем думать не хотелось и не стоило; и в конце концов он привык искать прибежища в грезах.

Глава IV

Миссис Флинтвинч видит сон

В отличие от сына своей старой госпожи, миссис Флинтвинч, если уж ей случалось грезить, грезила обычно с закрытыми глазами. В ту ночь, спустя лишь несколько часов после того как она ушла от сына своей старой госпожи, ей пригрезился удивительно яркий сон. Строго говоря, это даже не было похоже на сон, до того все в нем выглядело естественно и правдоподобно. Вот как это произошло.

Комната, служившая спальней супругам Флинтвинч, находилась в нескольких шагах от той, которую так давно уже не покидала миссис Кленнэм. Она не была на том же этаже, так как помещалась в пристройке и к ней вели несколько крутых ступенек, отделявшихся от главной лестницы почти насупротив дверей миссис Кленнэм. Неверно было бы также сказать, что она находится «на расстоянии оклика»: массивные стены, двери, дубовые панели глушили всякий звук; но все же она находилась достаточно близко, чтобы можно было, не тратя времени на одеванье, попасть из одной комнаты в другую в любой час и при любой температуре. У изголовья супружеской кровати, не дальше фута от уха миссис Флинтвинч, был колокольчик, шнурок которого висел под рукой у миссис Кленнэм. Стоило этому колокольчику зазвонить, как Эффери срывалась с постели и оказывалась в комнате у больной раньше, чем успевала окончательно проснуться.

Миссис Флинтвинч уложила свою госпожу в постель, засветила ей ночник, пожелала спокойной ночи и затем сама, как обычно, отправилась на покой, не дождавшись, правда, появления супруга и повелителя. Однако вопреки ученым авторитетам, утверждающим, что нам снится последнее, о чем мы думали на ночь, именно он, супруг и повелитель, оказался героем сновидения миссис Флинтвинч.

Привиделось ей, будто она проснулась среди ночи и обнаружила, что Иеремия так и не ложился. Будто она взглянула на свечу, которую перед сном не погасила, и, увидев, что от нее остался лишь маленький огарок, умозаклчила, подобно королю Альфреду Великому, всегда измерявшему таким способом время, что проспала довольно долго. Будто после этого она встала, накинула капот, надела ночные туфли и вышла на главную лестницу, недоумевая, где может быть Иеремия.

Лестница была твердая и осязаемая, совсем как наяву, и Эффери спустилась вниз без всяких блужданий вопреки тому, как это бывает во сне. Она не парила над ней, а спускалась медленно, ступенька за ступенькой, держась за перила, потому что свеча ее очень скоро догорела.

В одном углу сеней, за парадной дверью, была отгорожена тесная, точно колодец, каморка с длинным, узким, похожим на прореху окном. Из этой каморки, которая никогда не была обитаемой, шел свет.

Миссис Флинтвинч прошла через сени, ощущая под ногами холод каменных плит, и заглянула в щель между ржавыми петлями неплотно притворенной двери. Она ожидала, что увидит Иеремию крепко спящим или, может быть, в обмороке; а между тем он сидел в кресле здоровехонький и бодрствовал. Но что это?.. Господи спаси и помилуй!.. Миссис Флинтвинч тихо ахнула и почувствовала, что голова у нее идет кругом.

Ибо мистер Флинтвинч бодрствующий сидел и смотрел на мистера Флинтвинча спящего. Его пристальный взгляд был устремлен на него самого, который помещался напротив, за маленьким столиком, и храпел, уронив подбородок на грудь. Бодрствующий Флинтвинч сидел лицом к своей жене; спящий Флинтвинч был повернут к ней в профиль. Бодрствующий Флинтвинч был хорошо знакомым ей оригиналом; спящий Флинтвинч был копией. Хоть и

кружилась у Эффери голова, но она уловила эту разницу, так же как сумела бы отличить подлинный предмет от его отражения в зеркале.

Впрочем, если бы у нее возникло сомнение насчет того, который из двух – ее любезный супруг, оно тотчас же было бы развеяно его поведением. Он нетерпеливо оглянулся в поисках оружия, схватил щипцы и, прежде чем снять наросшую на свече шапку нагара, пырнул ими спящего, точно хотел проткнуть его насквозь.

– Кто это? Что случилось? – закричал тот спросонья.

Мистер Флинтвинч сделал такой жест, как будто собирался заставить гостя замолчать, всадив ему щипцы в глотку. Гость между тем уже очнулся и тер глаза, бормоча:

– Я забыл, где я.

– Ты спишь уже два часа, – прорычал Иеремия, сверившись со своим хронометром. – А просил только дать тебе вздремнуть для подкрепления сил.

– Я и вздремнул, – отозвался Двойник.

– Третий час утра, – вполголоса произнес Иеремия. – Где твоя шляпа? Где твои пальто? Где шкатулка?

– Все здесь, – сказал Двойник, с сонной медлительностью укутывая шарфом горло. – Пстой, пстой. Ну вот, теперь помоги мне надеть пальто – нет, сперва тот рукав, потом этот. Эх, годы, годы! – Мистер Флинтвинч энергичным усилием втиснул его в пальто. – А ты помнишь, что обещал мне еще стаканчик, после того как я вздремну?

– На! Пей и убирайся, – чуть было не сказал: пей и подавись! – Говоря это, Иеремия достал знакомую бутылку портвейна и налил вина в стакан.

– Ее портвейн, надо думать? – заметил Двойник, пробуя вино на вкус с досужим видом человека, которому некуда торопиться. – Так за ее здоровье!

Он отпил глоток.

– За твое здоровье!

Еще глоток.

– За его здоровье!

Третий глоток.

– И за всю округу Святого Павла! – Произнеся этот старинный тост, он допил свой стакан и поставил его на стол, после чего взялся за шкатулку. Это был плоский железный ящик примерно в два квадратных фута величиной, который без особого труда можно было унести под мышкой. Иеремия ревнивым взглядом следил за всеми движениями Двойника, подергал шкатулку, желая проверить, достаточно ли крепко тот ее держит, долго заклинал его соблюдать всяческую осторожность и, наконец, на цыпочках вышел, чтобы отворить дверь и выпустить его. Эффери, в предвидении этого, успела отбежать к лестнице. Дальше все происходило совершенно как наяву, настолько, что она даже услышала скрип отворяющейся двери, почувствовала ночную прохладу, увидела звезды на небе.

Но тут наступило самое удивительное в этом странном сне. Страх перед мужем словно парализовал миссис Флинтвинч, и вместо того чтобы поспешить назад в свою комнату (на это вполне хватило бы времени, покуда он возился с дверными засовами), она застыла неподвижно на ступеньке, на которой стояла. А потому, когда Иеремия, со свечой в руке, стал подниматься по лестнице вверх, он сразу же натолкнулся на нее. Его лицо выразило удивление, но он не произнес ни слова. Устремив на нее пристальный взгляд, он шаг за шагом продолжал подвигаться вперед; а она, замороженная силой этого взгляда, шаг за шагом пятилась назад. Таким образом, он наступая, а она отступая перед ним, дошли они до своей супружеской спальни. И не успела дверь затвориться за ними, как мистер Флинтвинч схватил жену за горло и принялся трясти ее так, что вся кровь бросилась ей в голову.

– Эффери, старуха! Эй, Эффери! Что тебе примерещилось? Да очнись же наконец! Что с тобой?

– Со... со мной, Иеремия? – прохрипела миссис Флинтвинч, выпучив глаза.

– Эффери, старуха, – эй, Эффери! Что это ты, милая, вздумала встать во сне? Я сам нечаянно уснул внизу, а потом прихожу сюда, чтобы лечь в постель, и застаю тебя на ногах, в капоте, мечущуюся в кошмаре. Эффери, старуха, – продолжал мистер Флинтвинч с ласковой усмешечкой на своем выразительном лице, – если еще раз повторится с тобой нечто подобное, придется заключить, что ты нуждаешься в лечении. И я тебя полечу, голубушка моя, – уж я тебя полечу!

Миссис Флинтвинч поблагодарила его и тихонько легла в постель.

Глава V

Дела семейные

В понедельник утром, едва на городских часах пробило девять, мистер Иеремия Флинтвинч, с обычным своим видом срезанного с веревки удавленника, подкатил кресло миссис Кленнэм к высокому бюро, стоявшему у стены. Дождавшись, пока она его отперла, откинула крышку и расположилась перед ним поудобнее, Иеремия удалился – быть может, пошел повеситься более прочно, – и в комнату вошел Артур Кленнэм.

– Как вы себя сегодня чувствуете, матушка? Лучше вам?

Она покачала головой с тем же оттенком зловещего удовлетворения, с которым накануне говорила о погоде.

– Мне никогда уже не будет лучше, Артур. К счастью, я это знаю и умею мириться с этим.

Когда она сидела так перед своим высоким бюро, положив обе руки на откинутую крышку, казалось, будто она играет на беззвучном церковном органе. Эта мысль не раз приходила на ум ее сыну; подумал он об этом и сейчас, садясь в кресло, стоявшее рядом.

Миссис Кленнэм выдвинула один ящик, потом другой: достала какие-то документы, просмотрела их и спрятала снова. Ни разу на ее суровом лице не мелькнуло просвета, который мог бы служить путеводной нитью тому, кто пожелал бы проникнуть в темный лабиринт ее раздумий.

– Мне хотелось бы побеседовать с вами о наших делах, матушка. Угодно ли вам вести деловой разговор?

– Угодно ли мне, Артур? Скорей следовало бы тебя спросить об этом. Прошло уже больше года с тех пор, как умер твой отец. Все это время я к твоим услугам и жду, когда ты соблаговолишь сюда пожаловать.

– Я не мог уехать, пока не уладил и не привел в порядок некоторые дела. А потом я предпринял небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и рассеяться.

Она повернула к нему лицо, словно недослышала или не поняла.

– Отдохнуть и рассеяться?

Она оглянулась по сторонам, и по движению ее губ можно было догадаться, что она повторяет про себя эти слова, будто призывая комнату подтвердить, как мало было доступно и то и другое в ее сумрачных стенах.

– А кроме того, матушка, ведь вы по завещанию единственная душеприказчица, и поскольку все управление имуществом находится в ваших руках, мне почти ничего или вовсе ничего не оставалось делать, как только ждать, когда вы распорядитесь всем по своему желанию и усмотрению.

– Счета все в порядке, – ответила миссис Кленнэм. – Вот они здесь. Оправдательные документы налицо и проверены должным образом. Можешь ознакомиться с ними, когда захочешь – хотя бы сию минуту.

– Раз вы говорите, что все в порядке, матушка, мне этого совершенно достаточно. А теперь, угодно ли вам меня выслушать?

– Говори, – сказала она обычным своим ледяным тоном.

– Матушка, за последнее время наша фирма из года в год уменьшала свои обороты, и дела ее все больше и больше приходили в упадок. Мы не слишком много доверия оказывали другим и не слишком пользовались доверием сами. Мы не приобрели постоянных клиентов; мы никогда не старались идти в ногу со временем и в конце концов крайне отстали. Мне незачем говорить вам об этом подробнее, матушка. Вам и без меня все известно.

– Да, я понимаю тебя, – отозвалась она несколько мягче.

– Даже этот старый дом, где мы с вами сидим сейчас, – продолжал ее сын, – может служить примером, подтверждающим мои слова. Когда-то, при моем отце, и еще раньше, при его дяде, это было место, где делались дела, – центр и средоточие деятельности фирмы. Но теперь он стоит в этом квартале устарелым и бесполезным пережитком, его существование уже никому не нужно и ничем не оправдано. Все наши торговые операции давным-давно ведутся через посредство комиссионной конторы Ровингемов; правда, вы, в качестве управляющей состоянием моего отца, постоянно держите их под своим бдительным и неутомимым надзором, но разве вы не могли бы точно так же плодотворно служить нашим деловым интересам, живя в другом месте?

– Так, значит, Артур, – произнесла она, оставляя его прямой вопрос без ответа, – значит, по-твоему, этот дом стоит здесь без пользы, если он служит пристанищем твоей недужной и страждущей – недужной в воздаяние за грехи и страждущей по заслугам – матери?

– Я имел в виду лишь деловую пользу.

– Но к чему ты клонишь?

– Сейчас все объясню.

– Я чувствую, – сказала она, вперив в него пристальный взгляд, – я чувствую, о чем пойдет речь. Но Господь даст мне силы безропотно стерпеть испытание, как бы тяжело оно ни было. За грехи свои я достойна великой кары и готова понести ее.

– Матушка, мне грустно слышать от вас такие слова, хоть я и опасался, что вы...

– Ты знал это. Знал, потому что знаешь *меня*, – перебила она.

Сын замолк на мгновение. Он высек огонь из камня и сам был поражен этим.

– Что ж, продолжай, – сказала она, возвращаясь к прежнему тону. – Говори, что хотел, я слушаю.

– Вы уже догадались, матушка, что я принял для себя решение выйти из дела. Решение это бесповоротно. Не беру на себя смелости давать вам советы; вы, как я понимаю, намерены вести дело дальше. Я знаю, что я обманул ваши надежды; но, если б я хоть сколько-нибудь мог рассчитывать на свое влияние, я постарался бы убедить вас не слишком строго судить меня за это и напомнил бы вам, что я прожил добрую половину человеческого века – и ни разу еще не пытался выйти из вашей воли. Не стану утверждать, что сумел подчиниться душой и разумом тем правилам, в которых вы меня воспитали; не стану утверждать, что сорок лет моей жизни были прожиты с пользой и удовольствием для меня и для кого-нибудь другого; но я всегда был покорным сыном и только прошу теперь, чтобы вы не забывали этого.

Горе просителю, который когда-либо с трепетом вглядывался в это непроницаемое лицо, чая прочесть на нем смягчение своей участи! Горе неплательщику, вынужденному предстать пред судом этих беспощадных глаз! Как нужна была этой суровой женщине ее мистическая религия, окутанная зловещим мраком с молниями проклятий, возмездий и разрушений, пронзающими порой черные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим» – эта молитва была чересчур смиренна для миссис Кленнэм. Разрази моих должников, Господи, сокруши их и уничтожь, поступи с ними, как я бы поступила, и я поклонюсь тебе – вот та вавилонская башня, которую она кощунственно пыталась воздвигнуть.

– Ты кончил, Артур, или хочешь сказать мне еще что-нибудь? Впрочем, едва ли. Твоя речь была краткой, но содержательной.

– Матушка, я не все сказал. Есть одна мысль, которая давно уже ни днем ни ночью не идет у меня из головы. Этот разговор для меня не в пример труднее всего, о чем уже было говорено сегодня. То касалось только меня; это касается нас всех.

– Нас всех! Кого это нас всех?

– Вас, меня, покойного отца.

Она сняла руки с бюро, сложила их на коленях и, оборотясь к огню, застыла с непроницаемым выражением древней египетской статуи.

– Вы знали моего отца несравненно лучше, чем знал его я, и с вами ему никогда не удавалось сохранить такую выдержку, как со мной. Вы были сильнее, и вы руководили его поступками. Уже в детские годы я понимал это не хуже, чем понимаю теперь. Я знал, что это вы, пользуясь своей властью над ним, настояли на том, чтобы он уехал в Китай заниматься делами фирмы, тогда как вы продолжали заниматься ими здесь (хотя до сегодняшнего дня я не уверен, таковы ли именно были добровольные условия вашей разлуки); и что согласно вашему желанию я до двадцатилетнего возраста оставался при вас, а затем отправился к нему. Вы не сердитесь, что я припоминаю все это теперь, двадцать лет спустя?

– Мне покуда непонятно, к чему ты все это припоминаешь.

Он понизил голос и произнес с видимым усилием и как бы против воли:

– Скажите мне, матушка, не являлось ли у вас когда-нибудь подозрение...

При слове «подозрение» она метнула на сына короткий взгляд из-под насупленных бровей – и тотчас же снова устремила глаза на огонь; но брови остались сдвинутыми, как будто древний египетский ваятель, высекавший из гранита эти суровые черты, хотел навеки придать им хмурое, мрачное выражение.

– ...что какая-то тайна тяготит душу отца, омрачает его совесть? Не случилось ли вам замечать за ним чего-либо, что могло привести на такую мысль, или говорить с ним об этом, или даже слышать от него какой-либо отдаленный намек?

– Не понимаю, о какой такой мучительной тайне ты говоришь, – возразила она после некоторого молчания. – Твои слова звучат загадочно.

– Возможно ли, матушка, – голос его упал до шепота, он весь подался вперед, чтобы она могла его расслышать, и в волнении положил руку на край бюро, – возможно ли, матушка, что он имел несчастье причинить кому-то зло и не исправил этого впоследствии?

Устремив на сына гневный взгляд, она откинулась на спинку, чтоб быть от него как можно дальше, но не произнесла ни слова.

– Я очень хорошо понимаю, матушка, что если у вас никогда не мелькало подобной догадки, в моих устах, хотя бы и высказанная с глаза на глаз, она должна показаться жестокой и противной природе. Но я не могу отделаться от этой мысли. Ни время, ни новые впечатления (я пробовал все, прежде чем решиться на разговор с вами), – ничто не в силах ее изгладить. Поймите, ведь я присутствовал при последних минутах отца. Я видел его лицо, когда он вручал мне часы, стараясь объяснить, что я должен передать их вам в качестве напоминания, смысл которого вы поймете сами. Я видел, как он последним усилием пытался написать какое-то слово, предназначенное для вас, но карандаш уже не повиновался его слабеющей руке. Чем более смутным и таинственным кажется жестокое подозрение, преследующее меня, тем мне важнее узнать обстоятельства, которые могли бы его подтвердить. Во имя Создателя постараемся доискаться до истины и, если в самом деле было совершено в прошлом какое-то зло, которое нам поручено исправить, исполним это как свой священный долг. Никто, кроме вас, матушка, не может помочь мне в этом.

От того, что она всей своей тяжестью налегла на спинку кресла, оно потихоньку, маленькими толчками, откатывалось назад, и это придавало ей сходство с ускользящим призраком. Она подняла левую руку к лицу, ладонью наружу, словно заслоняясь от сына, и молча глядела на него пристальным взглядом.

– Быть может, в погоне за деньгами, в настойчивых поисках выгодных сделок – раз уж я начал этот разговор, матушка, приходится говорить начистоту – кого-нибудь безжалостно обманули, обидели, разорили... Вы еще до моего рождения были душой и мозгом фирмы, вам, как натуре более сильной, подчинена была на протяжении четырех десятков лет вся деятельность моего отца. И я уверен, что в вашей власти разрешить мои тревоги и сомнения, если только вы не откажетесь помочь мне установить истину. Не откажетесь, матушка?

Он остановился в надежде услышать что-либо в ответ. Но плотно сомкнутые губы его матери были так же неподвижны, как гладкие бандо седых волос под чепцом.

– Если можно загладить вину перед кем-то, исправить причиненное кому-то зло, разберемся в этом и сделаем это. Или с вашего позволения, матушка, я сделаю, если только у меня хватит средств. Так редко случалось мне видеть, чтобы деньги приносили счастье – так мало покоя дали они, насколько я знаю, этому дому и всем его обитателям, что я меньше, чем кто-либо, склонен дорожить ими. Все, что эти деньги могут дать мне, будет для меня лишь источником горьких укоров совести, пока меня преследует мысль, что из-за них был омрачен тяжким раскаянием последний час отца и что они приобретены нечестным путем и достались мне не по праву.

В двух или трех шагах от бюро на дубовой панели стены висела сонетка. Внезапным резким толчком миссис Кленнэм направила туда свое кресло и сильно дернула за сонетку правой рукой – в то время как левой она по-прежнему заслоняла лицо, точно ожидая удара и готовясь отвести его.

Вбежала перепуганная девушка.

– Флинтвинча ко мне!

Девушка исчезла, и почти в то же мгновение в дверях показалась фигура старика.

– Ага! Уже на ножах! – сказал он, хладнокровно поглаживая себя по щеке. – Впрочем, этого я и ожидал. Я знал, что так будет.

– Флинтвинч! – сказала мать. – Посмотрите на него! Посмотрите на моего сына!

– Да я и то на него смотрю, – отозвался Флинтвинч.

Она простерла вперед руку, которую прежде держала как щит, и, указывая на виновника своего гнева, продолжала:

– Едва переступив порог родного дома, не просушив еще башмаков от дорожной грязи, он является к матери с клеветой, оскверняющей память отца! Призывает мать вместе с ним разворошить всю жизнь отца, рыться по-шпионски в его делах, что-то в них выискивая. Ему, видите ли, пришло в голову, что все наше достояние, которое мы копили из года в год неустанным трудом и заботами, не щадя сил и отказывая себе во всем, есть не что иное, как разбойничья добыча; и он желает знать, кому именно следует отдать все это во искупление зла и в возмещение убытков!

Хотя гнев клокотал в ней, она говорила ровным, сдержанным голосом, звучавшим даже тише обычного. Но каждое ее слово было словно отчеканено.

– Искупление! – повторила она. – Да уж, поистине! Легко говорить об искуплении тому, кто только что вернулся после праздной жизни в чужих краях, полной утех и веселья. Но пусть он взглянет на меня, проводящую свои дни в оковах, в заточении. А ведь я безропотно сношу все это, ибо так назначено мне свыше во искупление моих грехов. Искупление! Да к чему же еще сводится моя жизнь в этой комнате? Чем иным были все эти пятнадцать лет?

Так она постоянно сводила свои счета с небесным владыкою, все, что можно, записывая в кредит, аккуратно выводя сальдо и не забывая взыскивать причитающееся. Но если и отличалась она тут чем-либо от других, то лишь той силой и страстностью, которую вкладывала в это занятие. Тысячи и миллионы делают то же самое изо дня в день, каждый по-своему.

– Флинтвинч, подайте мне книгу!

Старик взял со стола требуемое и подал своей госпоже. Она заложила два пальца между страниц книги и с угрозой потрясла ею у сына перед глазами.

– В те далекие времена, о которых говорится в этой книге, Артур, жили среди людей праведники, возлюбленные Господом, которые и за меньшую провинность с проклятием изгнали бы своих сыновей из отчего дома, – и если бы заступился за грешного сына народ, то целый народ был бы проклят от Бога и людей и осужден на погибель весь, до грудных младенцев. Ты же запомни одно: если когда-нибудь тебе вздумается вновь начать этот разговор, я отрекусь

от тебя, я запру перед тобой свою дверь и сделаю так, что ты пожалеешь, зачем не лишился матери еще в колыбели. Никогда больше я не взгляну на тебя и не произнесу твоего имени. И если в конце концов тебе доведется войти в эту комнату, когда я буду лежать в ней мертвая, пусть мое бездыханное тело истечет кровью при твоём приближении.

От неистовой силы этих угроз, а еще и оттого (страшно сказать!), что ей смутно казалось, будто она совершает какой-то религиозный обряд, миссис Кленнэм почувствовала некоторое облегчение. Она отдала книгу старику и умолкла.

– Ну-с, – начал Иеремия, – условимся заранее, что я не буду становиться между вами; но все-таки, раз уж меня позвали в свидетели, нельзя ли узнать, в чем тут у вас дело?

– Это пусть вам объяснит моя мать, – сказал Артур, видя, что от него ждут ответа. – За нею слово. А то, что говорил ей я, не предназначалось для посторонних ушей.

– Ах вот как? – возразил старик. – Ваша мать? Я должен просить объяснений у вашей матери? Отлично! Но ваша мать упомянула, будто бы вы подозреваете в чем-то своего отца. Почтительный сын так не поступает, мистер Артур. Кто же тогда свободен от ваших подозрений?

– Довольно, – сказала миссис Кленнэм, на миг повернувшись так, что ее лицо было видно только Флинтвинчу. – Больше ни слова обо всем этом.

– Нет, погодите, погодите, – настаивал старик. – Как же все-таки обстоят дела? Сказали вы мистеру Артуру, что ему негоже пятнать подозрениями память своего отца? Что он не имеет на то права? Что у него нет к тому оснований?

– Я ему это говорю сейчас.

– Ага! Превосходно, – сказал старик. – Вы ему это говорите сейчас. Еще не говорили, но говорите сейчас. Да, да! Очень хорошо! Я так привык становиться между вами и его отцом, что сейчас мне кажется, будто смерть ничего не изменила и мои обязанности остались прежними. Ну что ж, я не отказываюсь их выполнять, пусть только не остается никаких неясностей и двусмысленностей. Итак, Артур, вам было сказано, что вы не вправе подозревать в чем-то своего отца и не имеете к тому никаких оснований.

Он взялся обеими руками за спинку кресла своей госпожи и, бормоча себе под нос, медленно покати́л его обратно к бюро.

– А теперь, – продолжал он, оставшись стоять за креслом, – чтобы мне не уходить, покончив лишь с половиной дела, и вам не пришлось бы звать меня еще раз, когда вы доберетесь до второй половины и снова выйдете из себя, – позвольте спросить, сообщил ли вам Артур свое решение относительно участия в делах фирмы?

– Он от него отказывается.

– В чью-нибудь пользу?

Миссис Кленнэм оглянулась на сына, который стоял, прислонившись к косяку окна. Он поймал ее взгляд и ответил:

– В пользу матушки, разумеется. Пусть распоряжается по своему усмотрению.

– Что ж, – произнесла миссис Кленнэм после короткой паузы, – я надеялась, что мой сын, достигнув расцвета лет, станет во главе фирмы и притоком свежих, молодых сил превратит ее в поистине доходное и могущественное предприятие; но если моим надеждам не суждено было сбыться, мне остается одно лишь утешение – возвысить старого и преданного слугу. Иеремия! Капитан покидает судно, но мы с вами остаемся и либо выплывем, либо пойдем ко дну с ним вместе.

Глаза у Иеремии заблестели, словно при виде денег; он метнул на сына своей госпожи быстрый взгляд, означавший: «Вы-то не рассчитывайте на мою благодарность! Вам я тут ничем не обязан!» – а затем обратился к его матери и стал говорить о том, как он ей благодарен и как Эффери ей благодарна, и что он никогда ее не покинет и что Эффери никогда ее не покинет. В заключение он извлек из недр свои часы и сказал:

– Одиннадцать. Вам пора есть устрицы! – И, переменяв таким образом тему разговора, что, однако, не повлекло за собой перемену тона или манеры, дернул за сонетку.

Но миссис Кленнэм, после того как было высказано предположение, будто ей незнакомы искушительные жертвы, решила быть к себе еще строже и принесенные устрицы есть отказалась. Как ни соблазнительно выглядели эти восемь устриц, уложенные в кружок на белой тарелке, стоявшей на покрытом белой салфеткой подносе рядом с ломтиком французской булки, намазанной маслом, и стаканчиком разбавленного вина для освежения, – миссис Кленнэм осталась непреклонной к уговорам и отослала все назад, не преминув, без сомнения, внести этот нравственный подвиг в соответствующую графу своей книги расчетов с небом.

Поднос с устрицами подавала и убирала не Эффери, а молодая девушка, прибежавшая раньше на звонок миссис Кленнэм, – та самая, которую Артур еще накануне заметил, но не мог разглядеть хорошенько в скудном освещении комнаты. Сейчас, при дневном свете, он увидел, что она много старше, нежели кажется, благодаря своей хрупкой фигурке, мелким чертам лица и сшитому в обрез платью. Издали ее легко было принять за девочку лет двенадцати, на самом же деле ей, вероятно, было не меньше двадцати двух. Правда, лицо у нее было вовсе не детское; напротив, на нем лежал отпечаток забот и печалей, несвойственных даже ее настоящим летам; но такая она была маленькая и легкая, такая тихая и застенчивая, так явно чувствовала себя не на месте в обществе этих трех суровых пожилых людей, что казалась среди них беспомощным ребенком.

Миссис Кленнэм проявляла к этой своей подопечной некое суровое и переменчивое участие, которое колебалось от покровительства до унижения и в своем действии походило то на опрыскивание живительной влагой, то на давление гидравлического пресса. Даже в ту минуту, когда девушка вбежала на резкий звонок, в глазах матери, движением руки оборонявшейся от сына, мелькнуло какое-то особенное выражение, которое только это существо, по-видимому, способно было вызвать. Подобно тому как даже закаленный металл бывает разных степеней закалки и даже в черном цвете есть разные оттенки черноты, так и отношение миссис Кленнэм к Крошке Доррит было чуть-чуть по-иному суровым, нежели ее отношение ко всему остальному человечеству.

Крошка Доррит была швеей. За умеренную – или скорей неумеренную по своей ничтожности – плату Крошка Доррит работала поденно, от восьми утра до восьми вечера. Минута в минуту Крошка Доррит появлялась, минута в минуту Крошка Доррит исчезала. Что происходило с Крошкой Доррит от восьми вечера до восьми утра, оставалось тайной.

Была у Крошки Доррит еще одна странность. Кроме денег, в дневную плату за ее труд входили и харчи. Но она почему-то ужасно не любила обедать вместе с другими и старалась уклониться от этого под любым предлогом: то ей требовалось спешно окончить какую-то работу, то необходимо было столь же спешно начать новую; словом, она шла на всякие уловки и измышления – не слишком, верно, хитрые, ибо они никого не могли обмануть, – только бы поесть в одиночестве. И если ей удавалось совершить свою трапезу где-нибудь в стороне, примостив тарелку у себя на коленях, или на ящике, или на полу, или даже, как подозревали иногда, стоя на цыпочках перед каминной доской, она бывала счастлива и довольна до конца дня.

Черты лица Крошки Доррит нелегко было разглядеть; скромная и застенчивая, она всегда забивалась с работой в самые отдаленные уголки, а повстречавшись с кем-нибудь на лестнице, в испуге спешила прочь. Оставалась в памяти прозрачная бледность этого лица и живое, подвижное выражение; красотой оно не отличалось, хороши были только бархатные карие глаза. Слегка склоненная голова, тоненькая фигурка, пара проворных неутомимых рук и поношенное платьице – верно, уж очень поношенное, если даже удивительная его опрятность не могла этого скрыть, – такова была Крошка Доррит за работой.

Всеми этими общими и частными сведениями о Крошке Доррит мистер Артур обогатился в течение дня как благодаря своим личным наблюдениям, так и благодаря языку мис-

сис Эффери. Если бы миссис Эффери обладала собственной волей и собственным мнением, и то и другое было бы, наверно, неблагоприятным для Крошки Доррит. Но поскольку «те двое умников», на которых постоянно ссылалась миссис Эффери и в которых без остатка растворилась ее личность, принимали Крошку Доррит, как часть естественного порядка вещей, ей тоже ничего другого не оставалось. Точно так же, если бы те двое умников сговорились убить Крошку Доррит ночью при свечах и попросили миссис Эффери подержать подсвечник, она, несомненно, выполнила бы эту обязанность.

Свою часть упомянутых выше сведений миссис Эффери сообщила Артуру попеременно с поджариванием куропатки для больной и изготовлением мясного пудинга для здоровых, причем она то и дело высовывала голову из кухонной двери, прятала ее и тотчас же высовывала снова, побуждаемая жаждой отпора тем двум умникам. Сделать единственного сына хозяйки дома достойным их противником – таково было, по-видимому, страстное желание миссис Флинтвинч.

Большую часть дня Артур бродил по всему дому. Унылым и мрачным показался ему этот дом. Угрюмые комнаты, долгие годы пустовавшие, словно погрузились в тяжелый мертвый сон, который ничто уже не могло разогнать. Мебели было мало, но в то же время она загромождала помещение, и казалось, что все эти вещи забрели сюда, чтобы спрятаться, а не для того, чтобы служить обстановкой комнат. Глаз поражало отсутствие красок; мимолетные лучи солнца давным-давно похитили все краски этого дома – быть может, чтобы наделить ими цветы, бабочек, оперение птиц, драгоценные камни или еще что-нибудь. От подвала до чердака не нашлось бы ни одного ровного пола; потолки были покрыты такими фантастическими наростами копоти и грязи, что старухи могли бы гадать на них лучше, чем на кофейной гуще. Смертельный холод сковал камин, и единственным признаком того, что когда-то в них пылал огонь, были кучи саж, насыпавшиеся из дымохода и черными облачками начинавшие кружиться по комнате, как только отворяли дверь. В зале, где когда-то принимали гостей, можно было увидеть два тусклых зеркала в рамах, по которым двигались траурные процессии черных человечков с гирляндами из черных цветов; впрочем, у многих участников этого погребального шествия не хватало голов или ног; один похожий на факельщика Купидон перевернулся и висел головой вниз, а другой и вовсе отвалился. Комната, служившая кабинетом покойному отцу Кленнэма, осталась совершенно такой, как она с детства запомнилась сыну; легко было вообразить, что он до сих пор незримо обитает здесь, как его вполне зримая вдова до сих пор обитает в своей комнате наверху, и что Иеремия Флинтвинч по-прежнему ходит парламентом от одного к другому. С темного и мрачного портрета, висевшего на стене, в сосредоточенном безмолвии смотрело лицо мистера Кленнэма-старшего, и его взгляд, такой же настойчивый, как в час, когда последняя искра жизни догорала в нем, казалось, грозно напоминал сыну о взятом им на себя долге; но Артур уже отчаялся добиться чего-либо от матери; что же до других способов разрешить терзавшие его сомнения, то в них он отчаялся еще задолго до того. Подвалы дома, как и жилые комнаты, были полны вещей, знакомых Артуру с детства; все это изменилось и попортилось от времени, но все стояло на старых местах, вплоть до порожних бочек из-под пива, окутанных паутиной, и пустых винных бутылок с тугим ошейником плесени вокруг горлышка. Здесь же среди ненужных бутылочных стоек, испещренных полосами бледного света, проникавшего сверху, со двора, была кладовая, заваленная старыми счетными книгами, и оттуда шел такой запах гнили и разложения, как будто целая армия престарелых конторщиков вставала каждую ночь из могилы и до рассвета занималась проверкой этих книг.

В два часа пополудни Артур отобедал в обществе мистера Флинтвинча, нового компаньона фирмы, уже известным нам мясным пудингом, который был сервирован с душевспасительной скромностью на уголке стола, накрытом мягкой скатертью. Мистер Флинтвинч заверил его в том, что душевное равновесие миссис Кленнэм уже восстановилось и что он может не опасаться с ее стороны сцены вроде давешней.

– Но не вздумайте снова чернить подозрениями память вашего отца, мистер Артур, – добавил Иеремия. – Раз и навсегда забудьте об этом. А теперь можно счесть вопрос исчерпанным.

Мистер Флинтвинч уже с утра хлопотал в своей маленькой конторке, чистя и прибирая ее сообразно своему новому высокому положению. К этому занятию он и вернулся, как только покончил с мясным пудингом, тщательно подобрал с тарелки соус при помощи ножа и основательно приложился к бочонку со светлым пивом, стоявшему в буфетной. Подкрепив таким образом свои силы, он засучил рукава, чтобы снова приняться за работу; и мистер Артур, провожая его глазами, подумал о том, что ждать каких-либо разъяснений от этого старика все равно что обращаться за ними к отцовскому портрету или к отцовской могиле.

– Эффери, старуха! – сказал мистер Флинтвинч, повстречав в сенях свою супругу. – Ты, оказывается, до сих пор не убрала постель мистера Артура. Поторапливайся. Ну!

Но мистеру Артуру было слишком не по себе в пустом и мрачном доме; к тому же он не имел ни малейшего желания снова услышать пламенные призывы всяких бедствий в этой жизни и проклятий в будущей на головы врагов своей матери (к которым, весьма возможно, был причислен и он сам); а потому объявил, что намерен ночевать в номерах, где остались его вещи. Поскольку мистер Флинтвинч рад был от него избавиться, а миссис Кленнэм редко вмешивалась в то, что происходило за стенами ее комнаты – если только речь не шла об экономии домашних расходов, – Артур мог осуществить свое намерение, не вызвав нового семейного скандала. Было уговорено, что он будет приходить каждый день в известные часы, чтобы вместе с матерью и мистером Флинтвинчем заниматься необходимой проверкой счетов и документов, – и он с тяжелым сердцем покинул родной дом, возвращение в который не принесло ему ничего хорошего.

А Крошка Доррит?

Для деловых занятий отведено было время с десяти утра до шести пополудни; в перерывы, потребные для того, чтобы больная могла соблюдать свой устрично-куропаточный режим, Кленнэм обычно шел прогуляться. Так продолжалось около двух недель. Иногда Артур заставлял Крошку Доррит склонившейся над шитьем, иногда ее вовсе не было видно, иногда она являлась в дом в качестве скромной гостьи – как было, вероятно, и в вечер его приезда. И чем больше он смотрел на нее, думал о ней, замечал ее присутствие или отсутствие, тем настойчивее становилось то любопытство, которое она пробудила в нем с первой встречи. И так как мысль его постоянно возвращалась к одному и тому же, он даже стал задавать себе вопрос, не может ли быть, что Крошка Доррит каким-то образом связана с мучившей его тайной. В конце концов он решил проследить за нею и побольше узнать о ее жизни.

Глава VI

Отец Маршалси

Лет тридцать тому назад стояла в Саутворке, по соседству с церковью Св. Георгия и слева от дороги, если идти к югу, долговая тюрьма Маршалси. Она стояла там много лет до описываемых событий и еще несколько лет после; теперь ее уже нет, и мир немного потерял с ее исчезновением.

Это был длинный ряд обветшалых строений казарменного вида, поставленных тыл к тылу, так что все окна в них выходили на фасад; а вокруг тянулся узкий двор, обнесенный высокой стеной, по краю которой, как полагается, шла решетка с железными остриями вверх. Внутри этой тесной и мрачной тюрьмы, предназначенной для несостоятельных должников, находилась другая, еще более тесная и мрачная тюрьма, предназначенная для контрабандистов. Считалось, что нарушители закона о государственных сборах и неплательщики акцизов или пошлин, присужденные к штрафу, который они не могли внести, содержатся в строгой изоляции за окованной железом дверью этой второй тюрьмы, состоящей из двух или трех камер с особо надежными перегородками и глухого тупика ярда в полтора шириной, – таинственной границы крошечного кегельбана, где несостоятельные должники гоняли шары, чтобы разогнать свою тоску.

Мы говорим: *считалось* – ибо на самом деле надежные перегородки и глухие тупики успели уже выйти из моды. Практика тут решительно разошлась с теорией, что бывает и в наше время, когда дело касается перегородок, которые вовсе не надежны, и тупиков, из которых действительно нет выхода. А потому контрабандисты находились в постоянном общении с должниками (которые встречали их с распростертыми объятиями), за вычетом тех заранее определенных дней, когда откуда-то должен был явиться кто-то для официального надзора за чем-то, о чем ни он и никто другой не имел ни малейшего представления. Во время этой сугубо английской процедуры все наличные контрабандисты прятались куда-то, где им положено было находиться, и притворялись, что не могут оттуда выйти, покуда упомянутый кто-то делал вид, что выполняет какие-то свои обязанности; а как только невыполнение упомянутых обязанностей заканчивалось, они переставали притворяться и выходили. Все это являло собой отличный образчик системы управления, которая широко применяется в общественной жизни нашего миленького маленького островка.

Задолго до того дня, когда вставшее над Марселем солнце озарило своими жаркими лучами начало настоящего повествования, в тюрьму Маршалси был заключен несостоятельный должник, имеющий некоторое касательство к предмету данного повествования.

В ту пору это был весьма милый и весьма беспомощный джентльмен средних лет, нимало не сомневавшийся, что его пребывание в тюрьме не затянется. Что было в порядке вещей, ибо среди всех несостоятельных должников, за которыми когда-либо захлопывались тюремные ворота, не находилось ни одного, кто бы в этом сомневался. При нем был саквояж, но он не знал, стоит ли распаковывать его, поскольку он совершенно убежден (все совершенно убеждены, заметил привратник), что его пребывание здесь не затянется.

Это был тихий, застенчивый человек довольно приятной, хотя и несколько женоподобной наружности, с кудрявыми волосами и нежным голосом, с мягкими безвольными руками – в ту пору еще украшенными кольцами, – которые он то и дело подносил к дрожащим губам; за первые полчаса своего знакомства с тюрьмой он повторил это нервное движение не менее сотни раз. Больше всего его беспокоила мысль о жене.

– Как вы думаете, сэръ, – спрашивал он тюремного сторожа, – не слишком ли для нее будет тяжелым переживанием, если она завтра утром подойдет к воротам?

Тюремный сторож, опираясь на свой солидный опыт, объявил, что которые переживают, а которые нет. Чаще бывает, что нет.

– А какого она нрава, ваша-то? – глубокомысленно осведомился он. – Тут ведь в этом вся загвоздка.

– Она очень нежное, очень неопытное существо.

– Вот видите, – сказал тюремный сторож. – Тем хуже для нее.

– Она настолько не привыкла выходить одна, – сказал должник, – что я просто даже не знаю, как она найдет сюда дорогу.

– Может, она извозчика возьмет, – заметил тюремный сторож.

– Может быть. – Безвольные пальцы потянулись к дрожащим губам. – Хорошо бы она взяла извозчика. Но боюсь, что не догадается.

– А то, может, – продолжал тюремный сторож, с высоты своего табурета, отполированного долгим употреблением, высказывавший все эти утешительные домыслы, точно перед ним был беспомощный младенец, которого нельзя не пожалеть, – а то, может, она попросит кого-нибудь проводить ее – брата или сестру.

– У нее нет ни братьев, ни сестер.

– Ну племянницу, тетку, служанку, подружку какую-нибудь, приказчика из зеленой лавки, черт побери! Уж кто-нибудь да найдется, – сказал сторож, заранее предупреждая все возможные возражения.

– А скажите, это... это не будет против правил, если она приведет с собой детей?

– Детей? – переспросил сторож. – Против правил? Господи твоя воля, да у нас тут целый детский приют, можно сказать. Детей! Да тут от них деваться некуда. Сколько их у вас?

– Двое, – ответил должник, снова поднося беспокойную руку к губам, и, повернувшись, побрел по тюремному двору.

Сторож проводил его взглядом.

– Ты и сам-то не лучше ребенка, – пробормотал он себе под нос. – Значит, трое, и ставлю крону, что твоя женушка тебе под стать. А это уже четверо. И ставлю полкроны, что в скором времени будет еще один. А это уже пятеро. И не пожалею еще полкроны за то, чтобы мне сказали, кто из вас больший несмысленш: еще не родившийся младенец или ты сам!

Все его догадки подтвердились. Жена пришла на следующий день, ведя за руку трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку, а что до остального, то сторож тоже оказался прав.

– Вы никак наняли комнату? – спросил этот сторож должника неделю-другую спустя.

– Да, я нанял очень хорошую комнату.

– И мебелишка найдется, чтобы обставить ее? – продолжал сторож.

– Сегодня после обеда мне должны доставить кое-какие необходимые предметы обстановки.

– И хозяйка с ребятишками переедет, чтобы вам не было скучно одному?

– Да, знаете, мы решили, что не стоит нам жить врозь, даже этот месяц или два.

– Даже месяц или два – ну да, конечно, – отозвался сторож. И снова он проводил должника взглядом и семь раз задумчиво покачал головой, когда тот скрылся из виду.

Злоключения этого человека начались с того, что он вступил компаньоном в предприятие, о котором знал только, что туда вложены его деньги; потом пошла юридическая путаница с составлением и оформлением каких-то купчих и дарственных, с актами о передаче имущества в одних случаях и отчуждения в других; потом его стали подозревать то в предоставлении незаконных льгот каким-то кредиторам, то в присвоении каких-то загадочно исчезнувших ценностей; а так как сам он меньше всех на свете способен был дать вразумительное объяснение хотя бы по одному из сомнительных пунктов, то разобраться в его деле оказалось совершенно немислимым. Сколько ни пытались выпрашивать у него подробности, чтобы связать концы с концами в его ответах, сколько ни бились с ним опытные счетоводы и прожженные законники,

знавшие все ходы и выходы в делах о банкротстве и несостоятельности, – от этого дело лишь еще больше запутывалось, принося щедрые проценты неразберихи. Безвольные пальцы все чаще и чаще теребили дрожащую губу, и в конце концов даже наипрожженнейшие законники отказались от надежды добиться у него толку.

– *Ему* выйти отсюда? – говаривал тюремный сторож. – Да он никогда отсюда не выйдет, разве только сами кредиторы вытолкают его взащей.

Шел уже пятый или шестой месяц его пребывания в тюрьме, когда он однажды под вечер прибежал к сторожу, бледный и запыхавшийся, и сказал, что его жена занемогла.

– Как и следовало ожидать, – заметил сторож.

– Мы рассчитывали, что она переберется к одним добрым людям, которые живут за городом, – жалобно возразил должник, – но только завтра. Что же теперь делать? Господи Боже мой, что же теперь делать?

– Не терять времени на ломание рук и кусание пальцев, – сказал сторож, человек здравомыслящий, взяв его за локоть. – Идемте.

Тот покорно побрел за ним, дрожа всем телом и повторяя между всхлипываниями: «Что делать, что делать!» – в то время как его безвольные пальцы размазывали по лицу слезы. Они взошли на самый верх одной из неприглядных тюремных лестниц, остановились у двери, ведущей в мансарду, и сторож постучал в эту дверь ключом.

– Входите! – отозвался изнутри чей-то голос.

Сторож толкнул дверь, и они очутились в убогой, смрадной комнатенке, посреди которой две сильные, опухшие красноносые личности играли за колченогим столом в карты, курили трубки и пили джин.

– Доктор, – сказал сторож, – вот у этого джентльмена жена нуждается в ваших услугах и нельзя терять ни минуты!

Чтобы описать докторского приятеля, достаточно было взять в положительной степени эпитеты сильный, одутловатый, красноносый, грязный, азартный, пропахший табаком и джином. Но для самого доктора уже потребовалась бы сравнительная, ибо он был еще сильнее, еще одутловатей, с еще более красным носом, еще азартнее, еще грязнее и еще сильнее пропах табаком и джином. Одет он был в какую-то немислимую рвань – штопанный-перештопанный штормовой бушлат с продранными локтями и без единой пуговицы (в свое время этот человек был искусным корабельным врачом), грязнящие панталоны, которые лишь при очень богатом воображении можно было представить себе белыми, и ковровые шлепанцы; никаких признаков белья не наблюдалось.

– Роды? – спросил доктор. – Моя специальность!

Он взял с каминной полки гребешок и при помощи этого орудия поднял свои волосы дыбом, – что, по-видимому, означало у него умывание, – затем из шкафа, где хранились чашки и блюда, а также уголь для топки, достал засаленную сумку с инструментами, обмотал шею и подбородок грязным шарфом и превратился в какое-то злое медико-пугало.

Доктор и должник бегом спустились с лестницы (расставшись со сторожем, который вернулся на свое место у ворот) и направились к жилищу должника. Все тюремные дамы успели проведать о готовящемся событии и толпились перед домом, где оно должно было произойти. Одна уже вела обоих детей, чтобы приютить их у себя, пока все не будет кончено; другие явились со скромными гостинцами, выкроенными из собственных скудных запасов; третьи просто шумно выражали участие. Мужская часть населения тюрьмы, чувствуя себя оттесненной на второй план, разошлась, или даже, вернее сказать, попряталась по своим комнатам и следила за ходом дел, выглядывая из окон; кто-то, завидя шедшего по двору доктора, подсвистывал ему в знак приветствия, другие, не смущаясь расстоянием в несколько этажей, обменивались язвительными намеками по поводу волнения, охватившего всю тюрьму.

День был летний, жаркий, и тюремные помещения, опоясанные высокими стенами, пеклись на солнце. В тесной комнатке, где лежала жена должника, хлопотала некая миссис Бэнгем, которая некогда сама содержалась в Маршалси в заключении, а ныне ходила туда на поденную работу и исполняла разные поручения обитателей тюрьмы, через нее поддерживавших связь с внешним миром. Эта достойная особа предложила свои услуги по истреблению мух и всяческому уходу за больной. Стены и потолок комнаты были черным-черны от мух, и миссис Бэнгем, со свойственной ей неистощимой изобретательностью, одной рукой обмахивала свою пациентку капустным листом, а другой готовила и разливала по банкам из-под помады убийственную смесь уксуса с сахаром, на соблазн и погибель мушиному роду, сопровождая все это приличествующими случаю утешительными и ободряющими речами.

– Что, моя душенька, мухи докучают? – говорила миссис Бэнгем. – Ничего, они зато отвлекут ваши мысли, а это к лучшему. Очень уж тут, в Маршалси, мухи жирны, да оно и немудрено: с одной стороны кладбище, с другой – бакалейная торговля, а рядом конюшня и лавки, где продают требуху. Кто знает, если рассудить, так, может, и мухи нам посланы в утешение. Ну как вы себя чувствуете, моя душенька? Не лучше? Впрочем, теперь на это надеяться не приходится; сначала будет хуже и хуже, а уж только потом лучше, вы ведь и сами знаете. Да, дела, дела! Подумать только, такой хорошенький маленький ангелочек должен появиться на свет за тюремной решеткой! Разве ж это не радость? Разве ж от этого не становится легче на душе? Да я и не упомяну у нас в тюрьме такого случая. Ну-ну, зачем же плакать, – продолжала миссис Бэнгем, неукоснительно заботясь о поднятии духа пациентки. – Вы ведь теперь прославитесь на всю округу! А мухи так и валяются в наши банки. И вообще все идет хорошо! А вот, наконец, – сказала миссис Бэнгем, оглянувшись на скрипнувшую дверь, – а вот, наконец, и ваш дорогой муженек и с ним доктор Хэггедж. Ну теперь, можно сказать, все в полном порядке!

Фигура доктора явно была не из тех, которые способны внушить пациенту уверенность, что все в полном порядке; но поскольку доктор сразу заявил: «Мы совсем молодцом, миссис Бэнгем, раз-два, и все будет кончено», и поскольку они с миссис Бэнгем тут же принялись верховодить четой беспомощных горемык, как ими всегда и все верховодили, то эта помощь, оказавшаяся под руками, сгодилась не хуже всякой другой. Во врачебных методах доктора Хэггеджа не было ничего примечательного, кроме разве его заботы о том, чтобы миссис Бэнгем все время оставалась на высоте своего положения. Вот образчик этой заботы.

– Миссис Бэнгем, – сказал доктор, не просидев у больной и двадцати минут, – ступайте принесите бутылочку джину, а то, я боюсь, вам не выдержать.

– Спасибо, сэр. Только вы не беспокойтесь, у меня нервы крепкие, – отвечала миссис Бэнгем.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – я нахожусь при исполнении своего врачебного долга и не потерплю, чтобы мне противоречили. Ступайте и принесите джину, а то я уже вижу, что силы вам изменяют.

– Не смею ослушаться, сэр, – сказала миссис Бэнгем, вставая. – Да вам и самому не мешало бы, пожалуй, глотнуть капельку, что-то у вас вид неважный, как я погляжу.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – если я должен интересоваться вашим здоровьем, это еще не означает, что вы вправе интересоваться моим. Потрудитесь не вмешиваться. Ваше дело – исполнять мои распоряжения, а потому ступайте и принесите то, что вам велено.

Миссис Бэнгем повиновалась, и доктор, отмерив ей ее порцию, выпил затем и сам. Эту лечебную процедуру он повторял каждый час, с неизменной настойчивостью. Так прошло три или четыре часа; мухи сотнями падали в расставленные им ловушки; и вот, наконец, среди этого множества мелких смертей затрепетала крошечная новая жизнь, едва ли многим крепче мушиной.

– Девочка, и прехорошенькая, – объявил доктор. – Невелика, правда, но сложена отлично. Что с вами, миссис Бэнгем? На вас лица нет! Немедленно ступайте и принесите еще джину, сударыня, а то как бы с вами не сделался нервный припадок.

Еще задолго до этого вечера кольца стали осыпаться с безвольных пальцев должника, как осыпаются листья с деревьев, когда зима близка. И ни одного уже не было у него на руке, когда он положил на грязную ладонь доктора что-то звякнувшее металлом. Перед тем миссис Бэнгем была послана с поручением в расположенное неподалеку заведение с тремя золотыми шарами на вывеске, где ее очень хорошо знали.

– Благодарю, – сказал доктор, – благодарю. Супруга ваша уже совсем успокоилась. Самочувствие отличное.

– Очень вам признателен и очень рад это слышать, – сказал должник. – Хоть никогда я не думал, что...

– Что у вас родится ребенок в таком месте? – перебил доктор. – Полноте, сэр! Не все ли равно! В конце концов, чего нам здесь не хватает? Немножко простора – и только. Живем спокойно; никто нас не донимает, нет дверных молотков, которыми кредиторы дубасят в дверь с таким грохотом, так что у вас душа уходит в пятки. Никто не спрашивает, дома ли вы, и не обещает простоять у порога как вкопанный, пока вы не придете. Никто не пишет вам угрожающих писем с требованием денег. Да ведь это свобода, сэр, самая настоящая свобода! Мне случалось оказывать врачебную помощь такого рода, как нынче, и в Англии, и за границей, и в походе, и на борту корабля, и должен вам сказать, что ни разу это не происходило при столь благоприятных обстоятельствах, как сегодня. Повсюду люди суетятся, нервничают, мечутся, обеспокоены то одним, то другим. Здесь ничего подобного не бывает. Мы прошли через все испытания судьбы, и нас больше ничем не поразишь; мы на самом дне, откуда уже нельзя упасть, – и что же мы нашли здесь? Покой, сэр. Вот слово, которым все сказано. Покой. – Пронесся этот символ веры тюремного старожилы, доктор, вдохновленный усиленными воздействиями и непривычным звоном денег в кармане, вернулся к своему дружку и собрату, такому же силпому, красноносому, одутловатому и грязному любителю карт, табака и спиртного.

Должник, надо сказать, был человеком совсем иного склада, нежели доктор; однако он уже начал движение по кругу, которое, хотя и с другой стороны, должно было привести его к той же точке. Свое заключение в тюрьму он воспринимал вначале как тяжкий удар судьбы; но прошло немного времени, и он стал находить в этом какое-то смутное облегчение. Его посадили за решетку, но решетка, преграждавшая ему путь к свободе, в то же время ограждала его от многих житейских бед. Будь он человеком душевно сильным, из тех, что умеют смотреть в лицо беде и бороться с нею, он, быть может, разбил бы свои оковы или разбился бы сам; но он таким не был и потому безвольно скользил по наклонной плоскости вниз, не делая никаких усилий, чтобы подняться.

После того как с десятков поверенных один за другим отказались от попытки распутать его дела, не сумев найти в них ни начала, ни середины, ни конца, его жалкое прибежище показало ему не таким жалким. Саквояж свой он давно уже распаковал; старшие его дети целыми днями играли на дворе, а малютку, родившуюся в тюрьме, знали все тюремные обитатели, и все считали ее до некоторой степени своей.

– А ведь я начинаю гордиться вами, – сказал ему однажды его приятель сторож. – Вы теперь, почитай, самый старый наш жилец. Без вас и вашего семейства уже и Маршалси не Маршалси.

И сторож в самом деле им гордился. За глаза он всячески выхвалял его арестантам-новичкам.

– Заметили вы того человека, что только что вышел из караульни? – спрашивал он.

Ответ чаще всего был утвердительным.

– Ну вот, знайте, что это джентльмен самого тонкого воспитания. Уж чего-чего, а денег на учителей для него, видно, не жалели. Когда смотритель тюрьмы купил новые фортепьяна, так его приглашали испробовать, хороши ли. И он на них играл, говорят, – все отдай, да мало. Опять же языки – каких только он не знает! Был тут у нас француз, так, по-моему, он говорил по-французски лучше этого француза. Был итальянец, так он его в два счета переитальянил. Конечно, и в других тюрьмах попадаются стоящие люди, не буду спорить; но если вы по части образования интересуетесь, это уж пожалуйста к нам, в Маршалси.

Когда младшей девочке исполнилось восемь лет, жена должника, которая давно уже хирела и чахла (по природной слабости здоровья, а не потому, чтобы она больше своего мужа страдала от пребывания в тюрьме), отправилась погостить к своей бывшей нянюшке, жившей за городом, – бедному, но верному другу, – и там заболела и умерла. Муж ее после этого несчастья две недели не выходил из своей комнаты; один помощник адвоката, тоже угодивший в Маршалси как несостоятельный должник, составил адрес с выражением соболезнования, слог которого сильно напоминал арендный договор, и все обитатели тюрьмы под ним подписались. Когда вдовец вышел в первый раз, все увидели, что в его волосах прибавилось седины (сесть он начал рано), и, по наблюдениям сторожа, у него вновь появилась старая привычка то и дело подносить руки к дрожащим губам. Но прошел месяц или два, и он вполне оправился; дети по-прежнему целыми днями играли на тюремном дворе, только одетые в черное.

Тем временем миссис Бэнгем, многолетняя и неутомимая посредница между узниками и внешним миром, стала слабеть здоровьем, и ее чаще прежнего находили в бесчувственном состоянии на тротуаре, причем вокруг валялись высыпавшиеся из корзины покупки, а в кошельке не доставало девяти пенсов сдачи. Мало-помалу ее обязанности перешли к сыну должника, который отлично справлялся со всеми поручениями, чувствуя себя и в тюрьме и на улице как дома.

Шли годы, и тюремный сторож тоже начал сдавать. Водянка раздула его тело, ноги отказывались служить, и дышал он с трудом. Табурет, отполированный долгим употреблением, был уже, как он грустно признавался, «не по нем». Он теперь сидел в кресле с подушкой, и порой, когда вставал, чтобы отворить ворота, припадок удушья мешал ему повернуть ключ в замке. Не раз во время таких припадков должник приходил ему на помощь и поворачивал ключ вместо него.

– Вы да я, больше таких старожил и нет, – сказал как-то тюремный сторож; дело было зимним вечером, шел снег, и в жарко натопленной караульне собралось большое общество. – Я сам попал сюда лет за семь до вас. Теперь мне недолго осталось. А когда я покину тюрьму окончательно и навсегда, вы можете получить звание Отца Маршалси.

Он покинул нашу земную тюрьму день спустя. Его слова запомнились многими и стали передаваться из поколения в поколение (срок одного поколения в Маршалси примерно равен трем месяцам); так постепенно сложилась традиция, по которой седой должник в поношенном платье и с мягкими манерами стал почитаться Отцом Маршалси.

И он гордился своим званием. Если бы отыскался вдруг другой, самозванный претендент на эту честь, старик заплакал бы от обиды при одной мысли, что его хотят лишить законных прав. Он даже не прочь был подчас преувеличить число лет, проведенных в тюрьме; и все уже знали, что с названной им цифры следует делать некоторую скидку. В быстрой смене тюремных поколений за ним утвердилась слава честолюбца.

Все новички должны были ему представляться. За соблюдением заведенного порядка он следил с неукоснительной требовательностью. Находились шутники, выполнявшие эту церемонию с явно преувеличенной помпой. Но не так легко было придумать тут что-нибудь такое, что в глазах старика показалось бы чересчур торжественным для данного случая. Представляющиеся являлись в его убогое жилище (знакомство во дворе он отвергал, считая это чересчур неофициальным и пригодным разве что для рядовых обитателей тюрьмы), и он принимал их,

исполненный скромного, но величавого достоинства. Добро пожаловать в Маршалси, говорил он. Да, он тот, кого называют Отцом Маршалси. Здесьним – кхм – пансионерам угодно было наградить его таким званием; и если более чем двадцатилетнее пребывание здесь является заслугой, то эта честь им заслужена. На первый взгляд тут может показаться тесновато, но недостаток простора искупается приятным обществом – хотя и несколько смешанным, по необходимости, – а также превосходным воздухом.

Постепенно вошло в обычай подсовывать под дверь старика письма со вложением то полукроны, то двух полукрон, а изредка даже и полусоверена. «Прощальный привет Отцу Маршалси от выбывающего пансионера». Он принимал эти дары как дань уважения выдающемуся общественному деятелю от его поклонников. Иногда под запиской стояло вымышленное шутовское имя – Пузан, Головешка, Козюля, Шалтай-Болтай, Франт, Вырвиглаз, Собачья-Радость; но Отец Маршалси считал это проявлением дурного вкуса и всегда в таких случаях чувствовал себя слегка обиженным.

Однако с течением времени этот обычай стал нарушаться; возможно, что в суматохе сборов у выбывающих пансионеров не всегда находилось время для писания писем, – и тогда старик завел привычку самолично провожать наиболее достойных до тюремных ворот и там обмениваться с ними прощальными рукопожатиями. Отмеченный этим знаком внимания пансионер, уже шагнув за ворота, спохватывался, поспешно завертывал что-то в бумажку и возвращался, крича: «Эй, постойте!»

Старик удивленно оглядывался.

– Вы меня? – спрашивал он с улыбкой. И, дождавшись, когда пансионер поравняется с ним, добавлял отечески ласково: – Вы что-нибудь забыли? Я могу чем-нибудь помочь вам?

– Я забыл передать вот это Отцу Маршалси, – следовал обычно ответ.

– Дорогой сэр, – в свою очередь отвечал тот, – Отец Маршалси бесконечно признателен за вашу любезность. – Но, опустив деньги в карман, он не вынимал оттуда своей по-прежнему безвольной руки, прежде чем успевал сделать два-три круга по двору и таким образом отвести глаза остальному населению тюрьмы.

Однажды случилось так, что довольно большое число арестантов выходило на волю в одно и то же время. Покончив с проводами и напутствиями, старик неспешным шагом возвращался домой, как вдруг ему повстречался еще один пансионер – бедняк рабочий, который попал в Маршалси неделей раньше за неуплату какой-то ничтожной суммы, ухитрился, наконец, «расквитаться» и теперь тоже выходил на волю. Человек этот был простой штукатур; он так и шел в своей рабочей блузе, в руке у него болтался узелок с пожитками, а рядом шла его жена. Видно было, что бедняга не помнит себя от радости.

– Благослови вас Бог, сэр, – сказал он, поравнявшись с Отцом Маршалси.

– И вас также, – великодушно отвечал тот.

Они уже разошлись на довольно большое расстояние, как вдруг старик услышал, что его окликают, и, оглянувшись, увидел бегущего за ним штукатур.

– Вот, примите, – сказал штукатур, догнав его и суя ему в руку горсть мелких монет, – тут немного, но зато от чистого сердца.

Никогда еще Отцу Маршалси не приходилось получать дань медяками. Правда, люди дарили порой какую-нибудь мелочь его детям, и эти дары с его ведома и согласия шли на пополнение семейной кассы, а потому не раз то, что он ел и пил, было оплачено такими же медяками; но чтобы блузник, перепачканный известкой, открыто, не таясь, предложил ему столь жалкую подачку – подобное с ним случалось впервые.

– Как вы смеете! – прошептал он, и слезы обиды потекли по его щекам.

Штукатур легонько взял его за плечи и повернул к стене, чтобы никто не увидел его слез. Столько деликатности обнаружилось в этом поступке, и так чистосердечно было раскаяние штукатур и его извинения, что старику ничего не оставалось, как только сказать ему:

– Я верю в доброту ваших побуждений. Не будем больше говорить об этом.

– Видит Бог, вы не ошибаетесь, сэра, – отозвался штукатур. – И в доказательство я сделаю то, чего никто еще не делал.

– Что же именно? – спросил старик.

– Я приду навестить вас, когда буду уже на воле.

– Отдайте мне эти деньги! – взволнованно воскликнул старик. – Я сохраню их на память и никогда не стану тратить. Благодарю вас, благодарю всей душой. Вы в самом деле ко мне придете?

– Не позже, чем через неделю, если буду жив.

Они пожали друг другу руки и расстались. В этот вечер Отец Маршалси удивил своих собратьев, сошедшихся скоротать время в дружной компании: один бродил он до глубокой ночи по темному двору, и видно было, что нелегкие мысли гнетут его.

Глава VII

Дитя Маршалси

Малютка, чей первый глоток воздуха был смешан с винным перегаром, исходившим от доктора Хэггеджа, стала частью тюремной легенды, и поколения арестантов передавали ее друг другу вместе с рассказом об их общем отце. Пока речь идет о первых порах ее жизни, выражение «передавали друг другу» следует понимать в прямом и буквальном смысле, ибо так уж было заведено, что каждый новичок, только что переступивший тюремный порог, должен был подержать на руках дитя, рожденное в тюремных стенах.

– А ведь по правде сказать, – заметил сторож, когда ему в первый раз показали девочку, – я ей вроде крестного отца.

Должник на минуту задумался, а потом нерешительно сказал:

– Может быть, вы и в самом деле не откажетесь быть ее крестным отцом?

– Почему ж бы мне отказаться, – отвечал сторож. – Если *вы* на это согласны, то я и подавно.

Вот как вышло, что крестины состоялись в ближайший воскресный день, когда тюремный сторож сменился с дежурства у ворот, и что именно он стоял у купели в церкви Св. Георгия и давал за свою крестницу все положенные ответы «как порядочный» – если воспользоваться выражением, которое он сам употребил, рассказывая об этом по возвращении домой.

После этого тюремный сторож как бы приобрел особые права на девочку, сверх тех, которые давало ему его официальное положение. По мере того как она подрастала, училась ходить и говорить, он все больше привязывался к ней; купил нарочно для нее маленькое креслице и поставил его у высокой решетки, ограждающей очаг в караульне, любил, чтобы в часы его дежурства она находилась при нем, забавляя его своим лепетом, и всегда держал наготове какую-нибудь приманку в виде дешевой игрушки или лакомства. Вскоре и малютка настолько привязалась к своему крестному отцу, что прибежала уже без зова, и в любое время дня можно было увидеть, как она карабкается по ступенькам караульни. Когда ей случалось заснуть в креслице у огня, сторож заботливо укрывал ее своим носовым платком; а когда она просто сидела там, одевая и раздевая свою куклу (которая очень скоро перестала напоминать кукол свободного мира и приобрела отталкивающее фамильное сходство с миссис Бэнгем), он смотрел на нее со своего высокого табурета, и неизъяснимая ласка светилась в его взгляде. Не раз арестанты, свидетели такой сцены, шутили, что тюремный сторож обманул природу, оставшись холостяком, тогда как был создан ею для роли отца семейства. На что, впрочем, он неизменно отвечал: «Нет уж, покорно благодарю; довольно мне того, что я вижу здесь чужих ребятишек».

Никто не мог бы с точностью определить, когда, в какую именно пору своего детства, крестница тюремного сторожа начала понимать, что не все люди на свете живут взаперти в узких дворах, окруженных высокой стеной с железными остриями наверху. Но еще совсем, совсем крошечной девочкой она каким-то образом сумела подметить, что отцовская рука всегда разжималась и выпускала ее ручонку, как только они подходили к воротам, отпиравшимся ключом ее крестного, и что отец никогда не делал шага дальше этой границы, которую ее легкие ножки перебежали без всяких помех. И, может быть, именно это открытие впервые заставило ее взглянуть на него с жалостью и состраданием.

Дитя Маршалси и дитя Отца Маршалси, она полна была жалости и сострадания ко всем, кто в этом нуждался; но лишь когда она смотрела на отца, во взгляде ее появлялось еще что-то, похожее на заботу. Сидела ли она в караульне у своего друга и крестного, возилась ли в комнате, где жила вместе со всей семьей, бродила ли по тюремному двору – выражение жалости и сострадания не покидало ее лица. С жалостью и состраданием смотрела она на свою капризницу-сестру, на бездельника-брата, на высокие голые стены, на невзрачных узников этих стен,

на тюремных ребятишек, которые с шумом носились по двору, гоняя обручи или играя в прятки, причем «домом» в этой игре служила железная решетка внутренних ворот тюрьмы.

Иной раз в теплый летний день она вдруг глубоко задумывалась, устремив взгляд на небо, синевшее за переплетом окна караульни, и так долго и пристально смотрела туда, что, когда наконец отводила глаза, перед ними по-прежнему маячил переплет, только светлый, и лицо ее друга-сторожа улыбалось ей словно из-за решетки.

– О чем задумалась, малышка? – спросил ее сторож в одну из таких минут. – Верно, о полях?

– А где это, поля? – в свою очередь спросила она.

– Да, пожалуй, вон там... – сказал сторож, довольно неопределенно указывая куда-то своим ключом. – В той стороне.

– А есть там человек, который открывает и закрывает ворота? Поля тоже запираются на ключ, да?

Сторож пришел в замешательство.

– Гм! – промолвил он. – Не всегда.

– А там красиво, Боб? – Она звала его Бобом по собственному его настоянию.

– Очень красиво. Полно цветов – и лютики, и маргаритки, и эти, как их... – сторож запнулся, будучи не слишком силен в ботанической номенклатуре, – и одуванчики, и всякая всячина.

– Должно быть, приятно гулять в полях, да, Боб?

– Еще бы!

– А мой отец когда-нибудь был там?

– Кхе-кхе! – закашлялся сторож. – Ну, как же! Разумеется – и не раз.

– А ему очень грустно, что он не может опять туда пойти?

– Н-нет – не очень.

– И другим тоже не грустно? – допытывалась она, поглядывая в окошко на арестантов, уныло слоняющихся по двору. – Ты это наверно знаешь, Боб?

Однако Боб предпочел оставить щекотливый вопрос без ответа и, чтобы переменить тему, предложил вниманию собеседницы карамельку – спасительное средство, к которому он прибегал всякий раз, когда его маленькая приятельница заставляла его ступить на слишком зыбкую почву политических, социальных или богословских проблем. Но именно этот разговор положил начало воскресным прогулкам друзей. Каждое второе воскресенье эта странная пара выходила, держась за руку, из тюремных ворот и с весьма важным видом направлялась к какой-нибудь зеленеющей лужайке или полянке по заранее обдуманному сторожем маршруту; там малютка бегала по траве и рвала цветы, чтобы принести домой красивый букет, а сторож сидел и курил свою трубку. На обратном пути заходили в увеселительный сад, пили эль, лакомились креветками и другими деликатесами; и, наконец, возвращались домой, бодро шагая рядом – за исключением тех случаев, когда девочка, утомившись более обычного, засыпала у своего друга на плече.

В те далекие дни впервые возник перед сторожем один сложный вопрос, разрешение которого потребовало от него стольких умственных усилий, что он так и умер, не разрешив этого вопроса. Дело в том, что он хотел завещать крестнице свои скромные сбережения, но не знал, как закрепить за ней это наследство, чтобы никто другой не мог им воспользоваться. По своему опыту сторожа долгой тюрьмы он слишком хорошо знал, до чего трудно «закрепить» деньги в чьих-нибудь руках и до чего легко они из рук уплывают, а потому на протяжении всех этих лет искал ответа на беспокоивший его вопрос у каждого нового представителя юридического сословия, который являлся в тюрьму в качестве поверенного того или иного из арестантов.

– Предположим, – начинал он, для большей убедительности упершись ключом в жилет поверенного, – предположим, какой-то человек желает оставить свое имущество молодой особе женского пола и притом не желает, чтобы кто-нибудь, кроме нее, мог запустить лапу в мешок; как бы вы тут посоветовали поступить?

– Составить завещание на ее имя, – с готовностью отвечал поверенный.

– Да так-то оно так, – упорствовал сторож, – но предположим, у нее есть брат, или там отец, или муж, и он наверняка попытается запустить лапу в мешок, как только она его получит, – вот как тут быть?

– Если деньги по завещанию оставлены ей, никто не имеет права дотронуться до этих денег, – следовал обоснованный ответ.

– Нет, погодите, – не унимался сторож. – А предположим, у нее доброе сердце и ее уговорят? Есть такой закон, чтобы помешать этому?

Но даже самый глубокий знаток предмета не мог извлечь из глубины своих знаний закон, который рассеял бы сомнения сторожа. А потому он промучился этими сомнениями несколько лет и в конце концов умер без завещания.

Впрочем, это произошло много позднее, когда его крестнице шел уже семнадцатый год. А когда ей только что сравнялось восемь, отец ее остался вдовцом. И если до тех пор чувство заботы лишь скользило, мешаясь с жалостью и состраданием, во взгляде ее широко открытых глаз, то теперь оно должно было воплотиться в дела и поступки. Так дитя Маршалси стало играть по отношению к Отцу Маршалси новую роль.

Сперва она просто старалась не оставлять его одного и просиживала дома все дни и вечера, отказавшись от своего уютного местечка у очага караульни – самое большее, что могла сделать такая маленькая девочка. Но мало-помалу он настолько привык к ее присутствию, что уже не мог без него обходиться, и если ее не было рядом с ним, ему словно чего-то не доставало. Через эту маленькую калитку она шагнула из детства в мир, полный забот.

Что в те ранние годы мог подметить ее сострадательный взгляд в отце, в сестре, в брате, в прочих обитателях тюрьмы; насколько Богу угодно было раскрыть перед нею печальную истину – все это остается тайной, сокрытой среди многих других тайн. Довольно, если мы знаем, что призвание влекло ее жить не так, как живут другие, трудиться и отдавать все силы, в отличие от других и ради других. Призвание? Да, именно так. Ведь мы говорим о призвании поэта или священника, почему же нам не употребить это слово, говоря о душе, которая во имя любви и преданности свершает скромный и незаметный подвиг на своем скромном и незаметном жизненном пути?

Так, без друзей или хотя бы знакомых, если не считать уже известной нам странной дружбы; без знания привычек и нравов, составляющих житейский обиход не запертой в тюрьмы части свободного человечества; рожденная и выросшая в положении более двусмысленном, чем самое двусмысленное из общественных положений по ту сторону тюремной стены; привыкшая с младенчества пить из колодца, вода которого была нечистой на вид и несвежей на вкус, – девочка, прозванная «дитя Маршалси», начала свою женскую жизнь.

Кто знает, сколько выпало на ее долю ошибок и разочарований, как много пришлось выслушать насмешек (пусть беззлобных, но все же болезненных) по поводу ее небольших лет и крошечного роста, как тяжело было ей самой сознавать себя беспомощным и слабым ребенком, хотя бы когда приходилось что-нибудь поднимать или нести, как часто она изнемогала и падала духом и плакала втихомолку – и все же, не сдаваясь, продолжала свое, пока те, ради кого она старалась, не увидели, что ее старанья полезны и даже нужны им. Такой час настал. Она заняла место старшей среди троих детей, во всем, кроме привилегий старшинства; сделалась главой этой поверженной семьи и приняла на свои хрупкие плечи все бремя ее позора и неудач.

В тринадцать лет она знала грамоту и умела вести счета – иначе говоря, могла записать названия и цены всех необходимых домашних припасов и подсчитать, какой суммы не хва-

тает на их покупку. Эти полезные знания она приобрела в вечерней школе, которую посещала урывками, не дольше двух-трех недель кряду, тогда как ее брат и сестра были отданы с ее помощью в дневные школы, где и проучились, хоть тоже не слишком регулярно, около трех или четырех лет. Дома их ничему не учили; но ведь она знала – кому еще было знать это так хорошо! – что человек, опустившийся до положения Отца Маршалси, уже не мог быть отцом своим собственным детям.

К этим скудным источникам образования она добавила еще один, до которого додумалась сама. Случилось так, что в пеструю толпу обитателей тюрьмы затесался однажды учитель танцев. Ее старшая сестра обладала природной склонностью к танцам и давно уже мечтала поучиться этому искусству. И вот дитя Маршалси, достигшее в ту пору тринадцати лет, предстало перед учителем танцев с маленькой сумочкой в руке и приступило к изложению своей смиренной просьбы.

– Прошу прощенья, сэр, я, видите ли, родилась здесь.

– А, так вы та самая молодая девица! – сказал учитель танцев, с интересом разглядывая маленькую фигурку и просительно поднятое к нему личико.

– Та самая, сэр.

– Чем же я могу служить вам? – спросил учитель танцев.

– Мне самой ничего не нужно, сэр, благодарю вас, – заторопилась она, развязывая свою сумочку, – но вот если бы вы согласились, покуда вы здесь, за недорогую плату давать уроки моей сестре...

– Дитя мое, я буду давать ей уроки бесплатно, – перебил учитель и, взяв сумочку у нее из рук, решительно затянул шнурки. Из всех учителей танцев, когда-либо доплясавшихся до долговой тюрьмы, это был, несомненно, самый добросердечный, и он сдержал свое слово. Ученые пошло на редкость успешно, как благодаря способностям ученицы, так и потому, что у наставника было сколько угодно свободного времени, которое он мог посвящать занятиям (ему понадобилось больше трех месяцев, чтобы обойти вокруг своих кредиторов, сделать пируэт в сторону поручителей и с поклоном возвратиться на место, которое он занимал до того, как с ним приключилась беда). Гордясь достигнутыми успехами, учитель танцев возымел желание напоследок похвастать ими перед избранным обществом пансионеров, которых он удостоил своей дружбой; и вот в одно прекрасное утро, часов около шести, на тюремном дворе (ибо ни в одной из комнат не нашлось бы достаточно места) состоялся балетный дивертисмент, причем пространство, отведенное для исполнителей, было так велико и каждый ярд его использован с такой добросовестностью, что учитель танцев, который сверх всего еще должен был играть на скрипке, запыхался вконец.

Учитель был настолько доволен своей ученицей, что не прекратил уроков и после того, как вышел из тюрьмы, и младшая сестра, ободренная успехом, решила попытать счастья еще раз. Только теперь ей нужна была швея. Наконец, после долгих месяцев ожидания, до нее дошел слух, что среди тюремных обитателей появилась женщина, занимавшаяся ремеслом модистки, и она тотчас же отправилась хлопотать – на этот раз о себе.

– Прошу прощенья, сударыня, – робко обратилась она к модистке, которую застала в постели и в слезах. – Я, видите ли, родилась здесь.

Должно быть, ее история становилась известна каждому еще на пороге тюрьмы, – по крайней мере модистка, услышав это, тотчас же села на постели, утерла глаза и спросила, точь-в-точь как учитель танцев:

– А, так ты – та самая девочка?

– Та самая, сударыня.

– Увы, я ничего не могу дать тебе, у меня нет ни пенни, – сказала модистка, сокрушенно качая головой.

– Мне не нужно денег, сударыня. Но я бы очень хотела научиться шить. Не согласитесь ли вы поучить меня?

– Зачем тебе? – спросила модистка. – Как видишь, меня это занятие не довело до добра.

– Видно, нет таких занятий, которые доводили бы до добра, если судить по тем, кто сюда попадает, – простодушно ответила девочка. – Но все-таки я хочу научиться шить.

– Уж очень ты слабенькая, как я погляжу, – колебалась модистка.

– У меня сил больше, чем кажется, сударыня.

– И потом уж очень-очень ты маленькая, как я погляжу, – продолжала колебаться модистка.

– Да, вот ростом я, правда, не вышла, – прошептала девочка и вдруг залилась слезами, оплакивая злополучный недостаток, так часто становившийся на ее пути. Модистку (женщину отнюдь не злую или черствую, но просто не успевшую еще примириться со своим новым положением) тронули эти слезы; она охотно согласилась на просьбу девочки, нашла в ее лице самую терпеливую и усердную из учениц и в сравнительно небольшой срок сделала из нее искусную мастерицу.

А в это время – именно в это самое время – в характере Отца Маршалси появилась новая черта. Чем больше он входил в свою роль и чем больше зависел от тех подношений, которые делали Отцу его многочисленные дети, тем чувствительней становился он ко всему, что считал несовместимым со своим достоинством бывшего джентльмена. Он спокойно зажимал в руке полкроны, полученные от какого-нибудь сердобольного пансионера, а спустя полчаса этой же рукой утирал слезы, лившиеся у него из глаз при первом намеке на то, что его дочери трудятся ради куска хлеба. А потому дитя Маршалси сверх всех своих прочих забот должно было еще заботиться о поддержании иллюзии, будто вся семья живет в праздности, как это приличествует всякому нищему из благородных.

Старшая сестра сделалась танцовщицей. Был у них бедняк дядя, разорившийся по вине своего брата, Отца Маршалси; как и почему это произошло, он понимал не лучше самого виновника несчастья, но покорно примирился с очевидностью. Его-то защите и вверилась племянница. Это был тихий, молчаливый человек; когда он узнал, что разорен, то ничем не выказал своих чувств по поводу постигшей его беды, кроме того, что перестал умываться и уже никогда больше не разрешал себе этой роскоши. Когда-то, в дни благополучия, он был посредственным музыкантом-любителем и после того, как банкротство брата унесло все его сбережения, стал зарабатывать свой хлеб игрой на кларнете (таком же грязном, как он сам) в оркестре одного маленького театрчика. Это был тот самый театр, где теперь его племяннице удалось получить место фигурантки в кордебалете, и к тому времени, когда она заняла это более чем скромное положение, он уже успел сделаться там одним из ветеранов. Обязанности спутника и охранителя молодой девушки он принял покорно и безропотно, как принял бы болезнь, наследство, приглашение на пир, необходимость голодать – все, что угодно, кроме предложения употреблять мыло.

Чтобы старшая сестра получила возможность зарабатывать эти несколько шиллингов в неделю, младшей пришлось пуститься в дипломатию.

– Фанни на время от нас переедет, отец. Она будет приходить к нам каждый день, но жить станет в городе, у дядюшки.

– Ты меня удивляешь, Эми. Зачем это?

– Нужно подумать о дядюшке, отец. Он так одинок, у него нет никого, кто бы помогал ему, заботился о нем.

– Одинок? Да он чуть не все свое время проводит здесь, с нами. И никогда твоя сестра не будет помогать ему и заботиться о нем так, как это делаешь ты. Просто все вы только и смотрите, как бы уйти из дому – да, да, только и смотрите!

Эти слова должны были свидетельствовать, что ему якобы ничего не известно про то, куда именно уходит каждый день из дому Эми.

– Зато вы знаете, как нам всегда приятно возвращаться домой. А что касается Фанни, то, кроме заботы о дядюшке, я думаю, ей самой будет полезно, если она некоторое время поживет не здесь. Ведь она не родилась в Маршалси, как я.

– Хорошо, Эми, хорошо. Мне не вполне понятна твоя мысль, но, в конце концов, нет ничего неестественного в том, что Фанни любит бывать в городе, и не только Фанни, но даже и ты, моя девочка. Словом, уж если вы с дядей так решили, пусть так и будет. Да, да, пожалуйста. Обо мне не беспокойтесь; я вмешиваться не стану.

Но самое трудное было устроить судьбу брата – оторвать его от тюрьмы, от общества арестантов, у которых он был на побегушках, с успехом заменив в этой должности миссис Бэнгем, от тюремного жаргона, принятого в этом более чем сомнительном обществе. В восемнадцать лет он уже привык жить из кулака в рот, от подачки до подачки, и будь на то его воля, прожил бы так до восьмидесяти. Ни разу не попался среди его тюремных друзей человек, который бы научил его чему-нибудь путному, и в поисках покровителя для него сестре пришлось обратиться все к тому же своему старому другу и крестному отцу.

– Милый Боб! – сказала она ему. – Что же будет с нашим бедным Типом?

Брата звали Эдвард, но обычное уменьшительное Тед в тюрьме превратилось в «Тип».

У сторожа имелось вполне определенное мнение насчет будущности бедного Типа, и, не желая, чтобы это мнение оказалось пророческим, он даже пробовал заводить с бедным Типом разговор о том, какая заманчивая перспектива для молодого человека уйти от тягот повседневной жизни и стать в ряды защитников отечества. Но Тип поблагодарил и сказал, что отечество и без него обойдется.

– Надо бы его пристроить к какому-нибудь делу, – сказал сторож. – Знаешь что, малышка, попробую-ка я подыскать ему местечко по адвокатской части.

– Ах, Боб, какой вы добрый!

Так у сторожа появилась еще одна задача, которую требовалось представить на разрешение навещавшим тюрьму джентльменам из юридического сословия. И тут он проявил такую настойчивость, что спустя немного времени к услугам Типа оказался табурет и двенадцать шиллингов в неделю в одной из адвокатских контор почтенного государственного палладиума, именуемого Пэлейс-Корт, который в ту пору значился в солидном списке нерушимых оплотов величия и безопасности Альбиона, ныне давно уже отошедших в область преданий.

Тип промаялся в Клиффордс-Инн полгода, по прошествии какового времени вновь предстал в один прекрасный вечер перед сестрой и с небрежным видом, не вынимая рук из карманов, сообщил, что больше в свою контору не вернется.

– Как не вернешься? – испуганно спросила бедная девочка. Среди всех ее житейских забот тревоги и надежды, касающиеся Типа, неизменно занимали первое место.

– Меня очень утомило переписыванье бумаг, и я его бросил, – объявил Тип.

Типа утомляло решительно все. Его маленькая вторая мать с помощью своего верного друга-сторожа находила ему все новые и новые места. С перерывами, которые заполнялись шатаньем по тюремному двору и отправлением обязанностей миссис Бэнгем, он за короткое время побывал в качестве подручного у пивовара, у огородника, у хмелевода, еще у одного адвоката, у аукциониста, у биржевого маклера, еще у одного адвоката, в конторе пассажирских карет, в конторе грузовых фургонов, еще у одного адвоката, у жестянщика, у винокура, еще у одного адвоката, в суконной лавке, в галантерейной лавке, у торговца рыбой, у торговца замороженными фруктами, на товарном складе и в доках. Но к какому бы делу ни пристраивали Типа, он очень быстро утомлялся и бросал его. Казалось, этот злополучный Тип всюду берет с собою тюремные стены и, расставив их вокруг себя, превращает любое заведение или предприятие в некое подобие тюремного двора, по которому и слоняется, заложив руки в карманы и лениво

шаркая подошвами, до тех пор пока настоящие, несдвигаемые стены Маршалси своим таинственным влиянием не притянут его обратно.

И все-таки решение спасти брата так твердо укоренилось в этом мужественном сердечке, что, в то время как он одну за другой хоронил все ее спасительные попытки, она ухитрилась трудами и лишениями сколотить ему денег на проезд до Канады. Когда уже и безделье настолько утомило Типа, что ему захотелось бросить бездельничать, он милостиво согласился ехать в Канаду. И дитя Маршалси, горюя о предстоящей разлуке, в то же время радовалось, веря, что наконец-то удалось вывести брата на правильную дорогу.

– Благослови тебя Господь, милый Тип! Смотри только не загордись и не забудь нас, когда разбогатеешь.

– Да уж ладно, – сказал Тип и отбыл в Канаду.

Впрочем, до Канады он не добрался; путешествие его окончилось в Ливерпуле. Прибыв из Лондона в вышепоименованный порт, он почувствовал такое настоятельное желание бросить пароход, доставивший его туда, что решил воротиться назад хотя бы пешком. Этот замысел он не замедлил привести в исполнение и по прошествии месяца вновь предстал перед сестрой, в лохмотьях, без башмаков и утомленный более чем когда бы то ни было.

Наконец, после очередного возвращения к обязанностям миссис Бэнгем, он сам приискал себе занятие, о чем и поспешил торжественно возвестить:

– Эми, я получил место.

– Неужто в самом деле, Тип?

– Можешь не сомневаться. Теперь я устроен. Больше тебе нечего обо мне беспокоиться, сестренка.

– А что за место, Тип?

– Ты ведь знаешь Слинга – хотя бы в лицо?

– Это тот, которого зовут Торгашом?

– Он самый. Так вот, в понедельник он выходит на волю и берет меня к себе.

– Чем именно он торгует, Тип?

– Лошадьми. Одним словом, теперь я устроен, Эми. Можешь не сомневаться.

После этого он исчез надолго, и за несколько месяцев она только раз получила от него весточку. По тюрьме ползли слухи, будто бы его видели в Мурфилдсе, где какие-то мошенники продавали с аукциона всякую посеребренную дребедень под видом чистого серебра, а он, изображая покупателя, щедро наддавал цену и время от времени расплачивался новенькими кредитными билетами; но до нее эти слухи не доходили. Однажды вечером она шила у себя в комнате – стоя у окна, чтобы воспользоваться последними лучами солнца, еще медлившего над тюремной стеной. Вдруг дверь отворилась и вошел Тип.

Она обняла его, не спрашивая ни о чем – ей было страшно задавать вопросы. От него не укрылась ее безмолвная тревога, и тень раскаяния мелькнула на его лице.

– Боюсь, на этот раз ты на меня рассердишься, Эми, уж я чувствую, что рассердишься.

– Мне это очень грустно слышать, Тип. Ты, значит, совсем вернулся?

– Д-да, совсем.

– Мне и не верилось, что на этот раз ты в самом деле нашел для себя что-то подходящее, Тип. Поэтому я не так удивлена и огорчена, как можно было ожидать.

– Но это еще не самое худшее, Эми...

– Не самое худшее?

– Только не смотри на меня такими испуганными глазами. Да, не самое худшее. Я, видишь ли, вернулся... ах, да не смотри ты на меня такими глазами! – я вернулся вроде как бы на другом положении. Раньше я был, так сказать, волонтером. Ну, а теперь перешел на действительную.

– Господи, Тип! Только не говори, что ты арестован! Нет-нет! Не говори этого!

– Я и не хотел говорить, – угрюмо пробурчал он. – Но что же мне делать, если ты иначе никак не понимаешь? Я задолжал сорок с лишним фунтов, и меня посадили.

Впервые за все эти годы тяжесть ее бремени сокрушила ее. Она заломила руки над головой и с воплем «Отец не переживет!» упала без чувств к ногам драгоценного брата.

Легче оказалось Типу привести ее в сознание, чем ей – довести до сознания Типа, что весть об его аресте будет тяжким ударом для Отца Маршалси. Это попросту не укладывалось у Типа в голову, казалось ему пустой и нелепой причудой. И лишь в виде уступки причуде он, наконец, согласился внять мольбам Эми, которым вторили дядя и старшая сестра. Не потребовалось каких-либо хитростей, чтобы объяснить возвращение Типа в тюрьму; старику просто сказали, что он бросил свое занятие, как это бывало уже не раз, и обитатели тюрьмы с чуткостью, которой не нашлось у сына, добросовестно поддерживали перед отцом этот благородный обман.

Такова была история и такова была жизнь той, кого звали Дитя Маршалси. Ко времени нашего рассказа ей исполнилось двадцать два года. Она не знала другого дома, кроме тюрьмы, и потому жалкий двор и тесный ряд тюремных строений оставались дороги ее сердцу; но теперь, став взрослой, она по-женски стеснялась того, что ее показывают всем как местную достопримечательность, и, уходя или возвращаясь, норовила проскользнуть незамеченной. С тех пор как она стала ходить на поденную работу, она сочла за благо скрывать свое место жительства и старалась тайком проделывать весь путь между городом свободных людей и высокими стенами, вне которых ей еще ни разу в жизни не случилось ночевать. Робкая по природе, она робела еще больше от этой вынужденной таинственности, и казалось, ее маленькая фигурка готова сжаться в комочек, когда легкие ножки несут ее по людным и шумным улицам.

Умудренная опытом в жестокостях борьбы за убогое, нищенское существование, она была невинна во всем остальном. Сквозь дымку этой невинности она смотрела и на отца, и на тюремные стены, и на мутный людской поток, бежавший сквозь тюрьму, постоянно обновляясь.

Такова была история и такова была жизнь Крошки Доррит вплоть до того унылого сентябрьского вечера, когда она торопилась домой, не подозревая, что Артур Кленнэм издали следует за нею. Такова была история и такова была жизнь той самой Крошки Доррит, что, дойдя до конца Лондонского моста, вдруг повернула назад, снова перешла мост, направилась в сторону церкви Св. Георгия, круто свернула еще один раз и, скользнув в незапертые ворота, скрылась в наружном дворике Маршалси.

Глава VIII За решеткой

Артур Кленнэм в замешательстве стоял посреди улицы. Он решил остановить кого-нибудь прохожего и спросить, что помещается за этими воротами, но уже несколько человек прошли мимо, а он все медлил, потому что их лица как-то не располагали к расспросам. Вдруг из-за угла вышел небольшого роста старичок и направился прямо к воротам.

Седой и сгорбленный, он плелся не спеша, с рассеянным видом, что, несомненно, было для него чревато опасностями при путешествии по более оживленным кварталам Лондона. Одет он был бедно и грязно: ветхий, некогда синий сюртук, чуть не до пят длиной, был застегнут наглухо и у самого подбородка скрывался под бренными останками бархатного воротника. Полоса красного коленкора, служившая покойнику опорой при жизни, теперь вылезла наружу и торчала дыбом, вместе с краями порыжелого галстука ероша всклокоченные седые лохмы на затылке носителя этого одеяния и ежеминутно грозя сбить с него шляпу. Под стать была и шляпа – засаленная, вытертая до блеска, с мятыми, обвисшими полями, из-под которых торчал кончик рваного носового платка. Старик переступал, волоча ноги, как слон; но была ли его походка такой от природы, или же ее затрудняли огромные, неуклюжие башмаки и чересчур длинные, мешковатые панталоны – этого никто не мог бы сказать с определенностью. Под мышкой он нес продавленный вытертый футляр с каким-то духовым инструментом, а в руке у него был крошечный бумажный фунтик с нюхательным табаком, и как раз в ту минуту, когда его заметил Артур Кленнэм, он неторопливо, стараясь, видимо, растянуть удовольствие, подносил понюшку табаку к своему жалкому сизому стариковскому носу.

К этому-то старику и обратился с вопросом Артур, дотронувшись до его плеча, когда тот уже входил в ворота. Старик оглянулся и уставился на Артура подслеповатыми серыми глазами с растерянным выражением человека, мысли которого блуждали где-то очень далеко и который к тому же туговат на ухо.

Артур повторил вопрос:

– Не будете ли вы добры сказать мне, сэр, что здесь помещается?

– А? Что здесь помещается? – переспросил тот, указывая через плечо пальцами, в которых была зажата понюшка табаку, не успевшая дойти по назначению. – Это Маршалси, сэр.

– Долговая тюрьма?

– Гм, – сказал старичок, явно не одобряя столь настойчивого стремления к точности. –

Да, сэр, долговая тюрьма.

И он повернулся, намереваясь продолжать свой путь.

– Прошу извинить мою назойливость, – сказал Артур, заступая ему дорогу, – позвольте задать вам еще один вопрос. Сюда каждый может войти?

– *Войти* может каждый, – ответил старик с ударением, за которым явно слышалось: «но не каждый может отсюда выйти».

– Еще раз прошу извинить. Вы часто бываете здесь?

– Гм, – сказал старик, крепче стиснув фунтик с табаком в руке и взглядом давая понять, что считает подобное любопытство неуместным. – Да, сэр, часто.

– Не обессудьте на слове. Мною руководит не праздное любопытство, но самые добрые побуждения. Не приходилось ли вам слышать здесь фамилию Доррит?

– Моя фамилия Доррит, сэр, – был неожиданный ответ.

Артур снял шляпу и поклонился.

– Не откажите выслушать несколько слов объяснения. Я никак не предполагал того, что мне сейчас сообщили; надеюсь, вы поверите, что в противном случае я не взял бы на себя смелость обратиться к вам. Я только что воротился в Англию после многолетнего отсутствия.

В доме моей матери, миссис Кленнэм, я встретил молодую девушку, швею, которую и в глаза и за глаза зовут не иначе, как Крошка Доррит. Эта девушка возбудила во мне живейший интерес, и мне очень хотелось бы разузнать о ней поподробнее. За несколько минут до нашей с вами встречи я видел, как она вошла в эти ворота.

Старик внимательно посмотрел на Артура.

– Вы моряк, сэр? – спросил он и, казалось, был несколько разочарован, когда Артур в ответ отрицательно покачал головой. – Нет? По вашему загорелому лицу вас можно принять за моряка. А вы со мной не шутите, сэр?

– Уверяю вас, я говорю совершенно серьезно, и очень прошу вас не сомневаться в моих словах.

– Я мало знаю жизнь, сэр, – сказал старик своим слабым дребезжащим голосом. – Я прохожу по ней, как тень по циферблату солнечных часов. Обмануть меня не велика заслуга; слишком это легко, и хвалиться тут было бы нечем. Молодая девушка, о которой вы говорите, – дочь моего брата. Мой брат – Уильям Доррит, а я – Фредерик. Вы говорите, что встретили мою племянницу в доме вашей матери (я знаю, что ваша мать оказывает ей покровительство), почувствовали к ней интерес и хотите знать, что она делает здесь, в Маршалси. Пойдемте со мной, и вы увидите.

Он повернулся и вошел во внутренний дворик; Артур последовал за ним.

– Мой брат, – сказал старик, снова остановившись и медленно оглядываясь через плечо, – уже много лет живет здесь; и по соображениям, о которых мне незачем распространяться, мы не посвящаем его во все подробности жизни за этими стенами, даже если эти подробности касаются нас самих. Прошу вас, не заговаривайте о том, что моя племянница ходит по домам шить. Прошу вас, не заговаривайте вообще ни о чем, кроме тех предметов, о которых станем говорить мы. Соблюдая эту предосторожность, вы не рискуете сделать промах. А теперь – пойдете.

Артур последовал за ним вдоль узкого прохода, в конце которого была массивная дверь. Загремел в замке ключ, и дверь медленно отворилась. Они очутились в помещении, служившем, по-видимому, чем-то вроде привратничьей или караульни; в глубине была другая дверь, а дальше решетка, за которой начиналась тюрьма. Старик по-прежнему брел впереди и, когда они проходили мимо дежурного сторожа, медленно повернулся к нему всем своим понуро сгорбленным, окостеневшим телом, как бы безмолвно представляя своего спутника. Сторож кивнул головой, и спутник прошел за решетку, не будучи даже спрошен, к кому направляется.

Вечер был темный, и ни фонари, зажженные на тюремном дворе, ни огоньки, мерцавшие в окнах тюремных строений за убогими занавесками и ветхими шторами, не в силах были разогнать тьму. Кой-где еще маячили человеческие фигуры, но большинство обитателей тюрьмы, как видно, сидело в этот час дома. Старик, очутившись во дворе, сразу взял вправо и, дойдя до третьей или четвертой двери, вошел и стал подниматься по лестнице.

– Темновато здесь, сэр, – сказал он Артуру, – но на дороге ничего нет, так что идите смело.

Они остановились на площадке второго этажа, и старик помешкал перед одной из дверей. Наконец он повернул ручку, дверь отворилась – и в то же мгновение Артуру Кленнэму стало ясно, отчего Крошка Доррит всегда старалась пообедать вдали от чужих глаз.

Тот кусок мяса, который ей полагалось съесть за обедом, она нетронутым принесла домой и теперь подогревала на ужин отцу, сидевшему за столом в поношенном сером халате и черной ермолке. Стол был накрыт чистой белой скатертью; нож, вилка, ложка, солонка, перечница, стакан и оловянная кружка с пивом – все находилось на своих местах; не были забыты даже особые приправы для возбуждения аппетита – кайенский перец в маленькой скляночке и на пенни пикулей в фарфоровом блюдце.

Девушка вздрогнула, залилась краской, потом побледнела. Но гость поспешным легким движением руки и взглядом, еще более красноречивым, чем это движение, просил ее успокоиться и не бояться его.

– Уильям, этот джентльмен – мистер Кленнэм, сын хорошей знакомой Эми, – начал дядя. – Я встретил его у наружных ворот; оказавшись поблизости, он хотел засвидетельствовать тебе свое почтение, но не знал, удобно ли это. Мой брат Уильям, сэр.

– Сэр, – сказал Артур, хорошенько не зная, что говорить, – надеюсь, глубокое уважение, которое я питаю к вашей дочери, объяснит и оправдает в ваших глазах мое желание быть вам представленным.

– Мистер Кленнэм, это большая честь для меня, – возразил хозяин дома, встав из-за стола и приподняв свою ермолку над головой. – Добро пожаловать, сэр, – тут был отвешен поклон. – Фредерик, кресло гостю! Прошу садиться, мистер Кленнэм.

Он водрузил ермолку на положенное ей место и снова уселся за стол. Вся эта церемония была проделана с курьезной смесью величия и благосклонности. Так он привык принимать пансионеров.

– Добро пожаловать в Маршалси, дорогой сэр. Многих, многих джентльменов приходилось мне приветствовать в этих стенах. Вам, может быть, известно – хотя бы со слов моей дочери Эмми, – что меня называют Отцом Маршалси?

– Я – да, я слыхал об этом, – наобум подтвердил Артур.

– Вероятно, вы также знаете, что моя дочь Эми родилась здесь. Добрая дочь, сэр, примерная дочь; она давно уже служит мне поддержкой и утешением. Эми, дитя мое, ты можешь подавать ужин; мистер Кленнэм поймет, что обстоятельства вынуждают нас здесь к известной простоте нравов, и не взыщет. Осмелюсь спросить, сэр, не окажете ли вы мне честь...

– Нет, нет, благодарю вас, – перебил Артур. – Ни в коем случае.

Он был совсем сбит с толку курьезными ужимками старика и все больше изумлялся, видя, насколько тот далек от мысли, что дочь предпочла сохранить в тайне печальную историю семьи.

Она тем временем наполнила его стакан, пододвинула поближе все предметы, которые ему могли понадобиться за едой, и, поставив перед ним тарелку с жареным мясом, сама села рядом. Должно быть, для того, чтобы не нарушать заведенного обычая, она и себе поставила тарелку, на которую положила кусок хлеба, и раз или два пригубила из отцовского стакана; но Артур видел, что она глотка не может сделать от волнения. В ее взгляде, устремленном на отца, восхищение и гордость смешивались со стыдом, но больше всего было в нем преданности и любви, и этот взгляд невольно хватал Артура за душу.

Отец Маршалси относился к своему брату с некоторой снисходительностью, как к доброму, благонамеренному человеку, который, однако же, не сумел достигнуть положения в обществе и вынужден довольствоваться скромными рамками частной жизни.

– Фредерик, – сказал он, – я знаю, что вы с Фанни сегодня обедаете у себя. Но где она, Фанни, куда ты ее девал?

– Она гуляет по двору с Типом.

– Тип – это мой сын, как вы, может быть, слышали, мистер Кленнэм. Немного ветреный юноша, и его не так легко было поставить на ноги, но ведь и обстоятельства, при которых ему пришлось вступать в жизнь, были... – он пожал плечами и с легким вздохом обвел глазами комнату, – не слишком благоприятны. Вы здесь впервые, сэр?

– Впервые.

– Впрочем, что же я спрашиваю! Вы едва ли могли хоть раз побывать здесь так, чтобы я об этом не знал, – разве что в детском возрасте. Обычно всякий, кто попадает сюда, если только он вправе претендовать – хотя бы претендовать! – на звание джентльмена, тотчас же является мне представиться.

– Бывали дни, когда моему брату представлялось по сорок-пятьдесят человек, – не без гордости вставил Фредерик.

– Совершенно верно, – подтвердил Отец Маршалси. – И даже более пятидесяти. Если вы зайдете к нам в погожий воскресный день во время сессии суда, вам покажется, что вы попали на дворцовый прием – да, да, на дворцовый прием. Эми, дитя мое, я сегодня с утра стараюсь припомнить фамилию джентльмена из Кэмбервелла, которого под Рождество представил мне тот милейший торговец углем, что был дополнительно осужден на шесть месяцев.

– Я не запомнила фамилию, отец.

– Фредерик, быть может, ты запомнил?

Но Фредерик выразил сомнение в том, что он вообще когда-нибудь эту фамилию слышал. Совершенно очевидно было, что Фредерик – последний человек на свете, от которого можно надеяться получить исчерпывающие сведения подобного рода.

– Ну как же, – настаивал его брат, – еще он обнаружил такую деликатность при совершении своего благородного поступка. Ах, бог мой! Вот выскочила из головы фамилия, и все тут. Мистер Кленнэм, вас, верно, интересуется, что это за деликатный и благородный поступок, о котором я сейчас упомянул?

– Весьма интересуется, – сказал Артур, отводя взгляд от поникшей головки и бледного личика, по которому скользнула тень новой тревоги.

– Поступок этот был столь прекрасен и свидетельствовал о таких высоких качествах души, что я поистине считаю своим долгом о нем рассказать. Я и тогда заявил, что буду рассказывать о нем при каждом подходящем случае, не щадя собственных чувств. Дело в том – кха-кхм, – а впрочем, что скрывать правду! – дело в том, мистер Кленнэм, что иногда у посетителей этих мест является мысль преподнести небольшой – кхм – знак внимания тому, кого называют Отцом Маршалси.

Грустно, ах, как грустно было видеть маленькую ручку, в немой мольбе легшую на его рукав, хрупкую фигурку, отвернувшуюся в сторону, словно еще сжавшись от смущения.

– Эти знаки внимания, – продолжал старик негромким взволнованным голосом, то и дело откашливаясь, чтобы прочистить горло, – эти знаки внимания – кхм – бывают разными; но чаще всего это – кха – деньги. И я не могу не признаться, что в большинстве случаев они – кхм – оказываются кстати. Джентльмен, о котором идет речь, мистер Кленнэм, был мне представлен в весьма лестной для меня форме и в беседе со мной обнаружил не только отменную учтивость, но и отменную – кхм – образованность. – Произнося эти слова, он все время беспокойно водил ножом и вилкой по тарелке, словно не замечая, что там давно уже ничего нет. – За разговором выяснилось, что у этого джентльмена есть сад – о чем он по своей деликатности не сразу упомянул, зная, что мне – кхм – недоступны прогулки по саду. Речь об этом зашла, когда я выразил свое восхищение прелестным – поистине прелестным – кустом герани, который он принес с собой и который, как оказалось, был выращен в его оранжерее. Когда я похвалил удивительно яркую окраску лепестков, он обратил мое внимание на опоясывавшую цветочный горшок бумажную ленту, на которой было написано: «Отцу Маршалси», и мне оставалось только поблагодарить его за подарок. Но это – кхм – еще не все. На прощанье он попросил меня снять ленту через полчаса после его ухода. Я – кха – исполнил его просьбу; и под бумагой обнаружил две гинеи. Поверьте, мистер Кленнэм, мне приходилось получать – кхм – знаки внимания в различной форме и различные по своим размерам, и всегда они, увы, оказывались к месту; но ни разу я не был растроган так, как растрогал меня этот – кхм – знак внимания.

Артур еще не успел сказать то небольшое, что только и можно было сказать по такому случаю, как раздался звон колокола, и почти тотчас же за дверью послышались шаги. Хорошенькая девушка, более сформировавшаяся и грациозная, чем Крошка Доррит, хотя и моложе ее на вид, распахнула дверь и остановилась на пороге, завидя чужого; следовавший за ней молодой человек остановился тоже.

– Это мистер Кленнэм, Фанни. Мистер Кленнэм, позвольте представить вам мою старшую дочь и моего сына. Колокол, который вы слышали, означает, что посетителям пора уходить, вот они и пришли попрощаться; но вы не беспокойтесь, времени еще много. Девочки, если вам нужно уладить какие-нибудь дела по хозяйству, мистер Кленнэм извинит вас. Ему, я полагаю, известно, что у меня здесь всего одна комната.

– Я только хочу взять свое платье, которое Эми мне выстирала, – сказала вновь пришедшая.

– А я – свое белье, – сказал Тип.

Эми подошла к обветшалому деревянному сооружению, нижняя часть которого представляла собою кровать, а верхняя – нечто вроде комода, выдвинула один из ящиков и, достав два небольших узелка, вручила их сестре и брату. «Все зашила и починила?» – услышал Кленнэм торопливый шепот сестры. И затем ответ Эми: «Да». Кленнэм уже встал, готовясь распрощаться, и воспользовался этим, чтобы оглядеть комнату. Голые стены были выкрашены в зеленый цвет, как видно не слишком умелой рукой; несколько литографий составляли все их жалкое украшение. На окнах висели занавески, пол был прикрыт ковриком; полка здесь, крючок там, разные мелкие приспособления говорили о том, что хозяйева этой комнаты обитают в ней уже много лет. Комната была небольшая, тесная, скудно обставленная; должно быть, еще и камин в ней дымил – иначе к чему бы жестянка, которой было прикрыто отверстие дымохода; но постоянной заботой и старанием удалось придать ей опрятный вид и даже черты своеобразного уюта.

Колокол меж тем не унимался, и дядюшка заспешил уходить.

– Скорей, Фанни, скорей! – говорил он, прихватывая под мышку обшарпанный футляр с кларнетом. – Идем, дитя мое, сейчас запрут ворота!

Фанни пожелала отцу спокойной ночи и порхнула в дверь. Тип еще раньше с грохотом сбежал по лестнице вниз.

– Поторопитесь, мистер Кленнэм, – сказал Фредерик, зашлепавший им вслед, оглядываясь на ходу. – Ворота, сэр, ворота!

Но у мистера Кленнэма было еще два дела, которые он должен был сделать, прежде чем уйти: во-первых, преподнести знак внимания Отцу Маршалси так, чтобы не обидеть дочь; во-вторых, хотя бы в двух словах объяснить этой дочери, что привело его сегодня в тюрьму.

– Позвольте мне проводить вас, – сказал хозяин дома.

Эми вышла за остальными, и они теперь были одни в комнате.

– Нет, нет, что вы, – торопливо возразил гость. – А вот позвольте мне... – и что-то зазвенело в руке хозяина.

– Мистер Кленнэм, – сказал тот, – я глубоко, глубоко... – Но гость сжал в кулак его руку, чтобы в ней перестало звенеть, а сам бегом пустился вниз по лестнице.

Крошки Доррит нигде не было видно, ни на лестнице, ни во дворе. Последние запоздалые посетители торопились к воротам, и он решил последовать их примеру. Но когда он поравнялся с крайним домом, там в дверях вдруг мелькнула знакомая фигурка. Он поспешно кинулся к ней.

– Простите, что я обращаюсь к вам в таком неподходящем месте, – сказал он, – простите, что я вообще сюда явился! Я сегодня выследил, где вы живете. Меня побудило к этому горячее желание быть чем-нибудь полезным вам и вашим родным. Для вас не секрет мои отношения с матерью, и вам не покажется странным, что я никогда не делал попытки познакомиться с вами ближе в ее доме – я опасался вызвать в ней ревность или обиду или, чего доброго, повредить вам в ее мнении. То, чему я был здесь свидетелем за этот короткий срок, заставляет меня еще настойчивей добиваться вашего доверия. Если бы я имел надежду стать вашим другом, это вознаградило бы меня за многие испытанные мной разочарования.

В первую минуту она испугалась, но, пока он говорил, успела уже овладеть собой.

– Вы очень добры, сэр. И я чувствую, что ваши слова искренни. Но – но лучше бы вы не следили за мной.

Он понял, что волнение, звучащее в ее голосе, вызвано болью за отца; и он почтительно промолчал в ответ.

– Я очень многим обязана миссис Кленнэм. Не знаю, что случилось бы с нами, если бы не работа, которую она мне дает. И мне кажется, что было бы нехорошо с моей стороны заводить от нее секреты. Ничего больше я вам сегодня не могу сказать, сэр. Не сомневаюсь, что вы нам желаете добра. Благодарю вас, благодарю от души.

– Позвольте на прощанье задать вам один вопрос. Давно вы знаете мою мать?

– Года два, сэр... Колокол перестал звонить!

– А как вы познакомились с ней? Она разыскала вас здесь?

– Нет. Она даже не знает, где я живу. У нас с отцом есть один друг – бедняк, простой рабочий, но лучшего друга не найти. Я написала объявления, что ищу швейной работы поденно, и дала его адрес. Он вывесил мои объявления в таких местах, где за это не нужно платить; по одному из них миссис Кленнэм разыскала меня... Сейчас запрут ворота, сэр!

Она вся дрожала от волнения, а он, глубоко растроганный и в то же время живо заинтересованный ее историей, в которую ему впервые удалось заглянуть, медлил и не мог заставить себя уйти. Но умолкнувший колокол и тишина, воцарившаяся в тюрьме, напоминали, что нужно уходить; и, наспех пробормотав несколько добрых слов, он отпустил ее к отцу.

Он, однако, слишком долго медлил. Внутренние ворота были уже на запоре, и караульня закрыта. Он попробовал постучаться, но скоро убедился, что все попытки бесплодны и ему предстоит провести ночь в тюрьме. Раздумывая над этой не слишком приятной перспективой, он вдруг услышал чей-то голос у себя за спиной.

– Что, попались? – сказал этот голос. – Придется теперь сидеть тут до утра... Ба! Да это вы, мистер Кленнэм!

Голос принадлежал Типу. Они стояли, глядя друг на друга, посреди тюремного двора; между тем начал накрапывать дождик.

– Сами виноваты, – заметил Тип, – другой раз будете попроворнее.

– Да ведь и вы не можете выйти, – сказал Артур.

– Еще бы! – насмешливо воскликнул Тип. – Уж это наверняка! Но только вы себя со мной не равняйте. Я ведь теперь кадровый; только моя сестрица забрала себе в голову, что наш старик не должен знать об этом. Хотя почему, не знаю.

– Можно тут где-нибудь приютиться на ночь? – спросил Артур. – Что вы мне посоветуете?

– Прежде всего нужно поймать Эми, – сказал Тип, привыкший переключать все трудности на плечи сестры.

– Нет, нет, не нужно ее беспокоить. Лучше я проведу ночь, разгуливая по двору; самое простое.

– В этом нет надобности, если только вы готовы заплатить за ночлег. Если вы готовы заплатить, вам устроят постель на столе в Клубе – раз уж так вышло. Пойдемте, я вас сведу с кем нужно.

Проходя мимо знакомого уже дома, Артур поднял голову. В одном окне горел свет.

– Да, сэр, – сказал Тип, перехватив его взгляд. – Это у нашего старика. Она еще часок посидит с ним – почитает ему вчерашнюю газету или расскажет что-нибудь, а потом выскользнет без всякого шума и исчезнет, точно маленькое привидение.

– Я вас не понимаю.

– Старик спит в той комнате, где вы были, а Эми нанимает каморку у одного из тюремных сторожей. Вон там, в крайнем доме, – Тип указал туда, где Кленнэм недавно увидел Крошку

Доррит. – В крайнем доме, под самой крышей. В городе можно было бы нанять комнату вдвое лучше и вдвое дешевле. Но она, добрая душа, хочет быть поближе к старику и днем и ночью.

За разговором они дошли до конца тюремного двора, где в нижнем этаже одного из домов находилось заведение, служившее пансионерам местом вечерних сборищ. Это и был так называемый Клуб, и оттуда только что разошлись посетители. Председательское кресло во главе стола, пивные кружки, стаканы, трубки, кучки пепла – все было еще в таком виде, как оно осталось после коротавшей здесь вечер веселой компании; даже дух ее не успел выветриться. Что касается духа, то тут можно было сказать, что Клуб удовлетворял первым двум из трех требований, которые принято считать обязательными при изготовлении грога для дам, – погорячей, покрепче и побольше; хуже обстояло дело с третьим, ибо комната была невелика и тесновата.

Случайному посетителю «с воли» естественно было предположить, что все здесь, от содержателя заведения до судомойки, принадлежат к числу арестантов. Так ли это, нет ли, разобрать было трудно, но, во всяком случае, вид у них у всех был довольно отошальный. Хозяин мелочной лавочки, помещавшейся тут же, который держал и жильцов, вызвался помочь в устройстве постели для Артура Кленнэма. При этом он не преминул сообщить, что в свое время был портным и имел собственный выезд. Он мнил себя блюстителем законных интересов местного населения, и у него имелись кое-какие неопределенные и неопределимые соображения насчет того, что будто бы смотритель тюрьмы присваивает некую субсидию, предназначенную для пансионеров. Ему самому нравилось верить в это, и он никогда не упускал случая пожаловаться на мифические злоупотребления новичкам и посторонним; хотя даже под страхом смерти не мог бы объяснить, о какой такой субсидии речь и откуда все это взбрело ему в голову. Но так или иначе он был непоколебимо убежден, что на его лично долю должно было приходиться из упомянутой субсидии три шиллинга и девять пенсов в неделю; на какую сумму его, как одного из пансионеров, и обворовывал каждый понедельник смотритель тюрьмы. По всей вероятности, он оттого и предложил свои услуги по части устройства постели, что усмотрел тут случай лишний раз произнести свою обвинительную речь. Облегчив таким образом душу и пообещав написать в газеты и вывести смотрителя на чистую воду (обещание, как видно, давалось не раз, но дальше обещания дело не шло), он примкнул к общему разговору. Разговор касался самых различных предметов, но по всему его тону видно было, что обитатели Маршалси привыкли считать неплатежеспособность нормальным состоянием человека, а уплату долгов – чем-то вроде случайного приступа болезни.

Странная обстановка, странные, призрачные существа, роившиеся вокруг, – все это было похоже на сон, и как во сне смотрел Артур Кленнэм на приготовления, которые делались к его ночлегу. А между тем Тип, давно уже свой человек здесь, с противоестественной гордостью показывал ему хозяйство Клуба, средства для которого добывались по подписке среди пансионеров: большой кухонный очаг, котел для горячей воды и другие усовершенствования, наводившие на мысль, что если хочешь быть здоров, счастлив и богат, то самый верный способ для этого – поселиться в Маршалси.

Наконец из двух столов, сдвинутых вместе, в дальнем углу комнаты было сооружено довольно сносное ложе, и все разошлись, предоставив случайному постояльцу наслаждаться видом резных стульев, плевательниц и лучины для разжигания трубок, запахом мокрых опилок и пива, обществом председательского кресла и покоем. Последний, впрочем, наступил очень, очень не скоро. Неожиданность этого ночлега в непривычном месте, неприятное сознание, что находишься за решеткой, воспоминание о комнате во втором этаже, о двух братьях, пуше же всего о хрупкой полудетской фигурке и бледном личике, в котором Кленнэм ясно разглядел теперь следы многолетнего если не голода, то недоедания, еще долго тревожили его и не давали ему уснуть.

Потом в утомленном бессонницей мозгу закружились подобно кошмару другие мысли, но все они были связаны с тюрьмой, хотя и самым причудливым образом. Есть ли в тюрьме

запас гробов на случай, если кто-нибудь из арестантов умрет? Где хранятся эти гробы и как они хранятся? Где хоронят тех, кто умирает в тюрьмах, как их выносят, какие при этом соблюдаются обряды? Может ли какой-нибудь неумолимый кредитор задержать мертвеца? Возможен ли побег из тюрьмы, как его осуществить? Можно ли взобраться на стену при помощи веревки и крюка? А как спуститься с другой стороны? – может быть, соскочить на крышу соседнего дома, прокрасться по лестнице и, выйдя в дверь, затеряться в толпе? А что, если в тюрьме вспыхнет пожар? Вдруг это случится именно сегодня, когда он ночует здесь?

Но все эти произвольные взлеты воображения лишь служили фоном, на котором четко выступали все те же три фигуры. Его отец на смертном одре с пристальным, напряженным взглядом, который предвидение художника запечатлело на портрете; его мать, поднятой рукой отстраняющая подозрения сына; Крошка Доррит, удерживающая отцовскую руку, со стыдом отвернувшаяся в сторону.

Что, если у его матери есть какая-то давнишняя тайна, побуждающая ее быть ласковой с этой бедной девушкой? Что, если тот узник, что с Божьей помощью сейчас мирно спит у себя в комнате, в день Страшного суда укажет на миссис Кленнэм как на виновницу своего падения? Что, если она и ее муж были хотя бы отдаленно причастны к беде, что пригнула так низко седые головы этих двух братьев?

Неожиданная мысль вдруг прорезала мозг Артура. Это многолетнее заточение в тюремных стенах – многолетнее затворничество его матери в стенах собственной комнаты – может ли быть, что она видит тут возможность сбалансировать некий жизненный счет? «Признаю, что была соучастницей зла, причиненного этому человеку. Но ведь я искупила вину не меньшими страданиями. Он исчез в своей тюрьме; я – в своей. Мы квиты».

Эта мысль не давала ему покоя и после того, как все другие мысли уже потускнели и расплылись. Он уснул – и тотчас же мать явилась перед ним в своем кресле на колесах, заслоняясь от него теми же словами оправдания. Он внезапно проснулся, охваченный безотчетным страхом, – и эти слова стояли в ушах, как будто голос матери произнес их у его изголовья, разгоняя сон: «Он томится в своей тюрьме, я томлюсь в своей. Грозное правосудие совершилось, и мой долг уплачен сполна».

Глава IX

Маленькая маменька

Рассвет не слишком торопился переползти через тюремную стену и заглянуть в окна Клуба; а когда это наконец случилось, он, к сожалению, явился не один, а с проливным дождем. Бури равноденствия свирепствовали на море, и юго-западный ветер без разбора налетал на все, что попадалось по пути, не гнушаясь даже теснотой Маршалси. С ревом вривался он на колокольню церкви Св. Георгия, вертел колпаками печных труб на окрестных крышах, с маху кидался вниз, гоня на тюрьму дым со всей округи, и нырял в дымоходы, грозя задушить тех немногих пансионеров, которые уже встали и разводили огонь у себя в комнате.

Артур Кленнэм не склонен был долго нежиться в постели, даже если бы эта постель находилась в более покойном месте, где ему не пришлось бы слушать, как выгребают вчерашнюю золу, раскладывают огонь под клубным котлом, наполняют водой эту спартанскую чашу пансионеров, подметают и посыпают опилками пол – словом, готовятся к наступающему дню. Почти не отдохнув за ночь, он все же от души порадовался, что эта ночь миновала, и, едва рассвело настолько, что можно было различить окружающие предметы, поспешил одеться и выйти и еще добрых два часа мерил шагами двор в ожидании, когда откроются ворота.

Расстояние между тюремными стенами было так невелико, а тучи неслись над ними с такой неистовой быстротой, что, глядя на этот узкий просвет бурного неба, Артур испытывал нечто похожее на приступ морской болезни. Ветер гнал наискось потоки дождя, заливая до черноты стену дома, где Артур провел вчерашний вечер; но с подветренной стороны оставалась маленькая полоска сухой земли; по ней и расхаживал Артур взад и вперед, среди обрывков бумаги и всякого сметья, пучков соломы, лужиц, натекших от колодца, и вчерашних кухонных отбросов. Жизнь представляла здесь в самом своем неприглядном виде.

Появление той, ради кого он стремился сюда, могло бы скрасить эту неприглядность; но знакомой маленькой фигурки нигде не было видно. Быть может, она проскользнула из двери в дверь у него за спиной, когда он шагал в противоположную сторону. Для ее брата час был слишком ранний; не требовалось долгого знакомства с ним, чтобы заключить, что он едва ли спешит по утрам покинуть свое ложе, каким бы жалким это ложе ни было; и потому, расхаживая вдоль стены, Артур Кленнэм думал о начатых им расследованиях не столько в настоящем, сколько в будущем времени.

Наконец дверь караульни повернулась на петлях, и тюремный сторож, расчесывая гребенкой спутавшиеся за ночь волосы, выразил готовность выпустить на волю случайного узника. С радостным чувством освобождения Артур прошел через караульню и очутился в том самом наружном дворике, где накануне состоялось его знакомство с Дорритом-братом.

Навстречу уже тянулась вереница потрепанных личностей, в которых нетрудно было угадать поставщиков, посредников и посыльных тюремного населения. Некоторые успели вымокнуть под дождем, дожидаясь, когда откроются ворота; другие, сумев точнее рассчитать время, только сейчас подходили с покупками – хлебом, молоком, разным бакалейным товаром в отсыревших серых бумажных кульках, маслом, яйцами и тому подобное. Диковинное зрелище являли собой эти бедняки на побегушках у бедноты, неимущие прислужники неимущих хозяев. Таких поношенных сюртуков и панталон, таких старомодных, допотопных, потрепанных платьев и шалей, таких продавленных шляп и шляпок, таких башмаков, зонтиков и тростей не встретишь и в ветошном ряду. Одетые в обноски с чужого плеча, все эти люди были словно составлены и сшиты из лоскутков чужих существований, и ничего своего нельзя было усмотреть в их обличье. Ходили и двигались они по-особому, как существа некоей особой породы. У них всегда был такой вид, словно они торопятся прошмыгнуть незамеченными за угол, где находится закладная лавка. Если случалось кому-нибудь из них кашлянуть, то это был

кашель человека, привыкшего дрогнуть на ветру или переминаясь перед захлопнутой дверью, дожидаясь ответа на прошение, написанное водянистыми чернилами и способное вызвать в получателе лишь чувство недоумения и досады. Если они смотрели на незнакомого человека, то смотрели голодным, испытующим взглядом, точно прикидывая, нельзя ли вытянуть у него денег и достаточно ли он сердобобен, чтобы расщедриться на сколько-нибудь приличную сумму. Закоренелое нищенство втягивало им голову в плечи, сгибало их трясущиеся колени, застегивало, закалывало, подвязывало, подштопывало их одежду, обтрепывало края петель, лезло наружу грязными обрывками тесемок, винным перегаром дышало изо рта.

Заметив Артура Кленнэма, в нерешительности медлившего у ворот, один из этих людей подошел к нему и предложил свои услуги; и тут только у Артура явилась мысль, не поговорить ли еще раз с Крошкой Доррит до ухода. Вероятно, ее смятение уже улеглось и она будет чувствовать себя свободнее. Он взглянул на неопределенную личность, стоявшую перед ним с двумя копчеными селедками в руке и с хлебцем и сапожной щеткой под мышкой, и спросил, нет ли поблизости места, где можно выпить чашку кофе. Личность радостно закивала в ответ и повела Артура в кофейню, находившуюся в двух шагах от тюрьмы.

– Не знаете ли вы мисс Доррит? – спросил новый клиент.

Личность знала двух мисс Доррит; одна родилась в тюрьме... Вот, вот, эта самая. Ах, эта самая? Ну, как же, личность знает ее много лет. А есть еще другая мисс Доррит, так та живет у своего дяди в том же доме, что и личность.

Последнее сведение заставило клиента изменить сложившийся у него было план – дожидаться в кофейне, пока личность не даст ему знать, что Крошка Доррит вышла из ворот. Вместо того он поручил личности передать ей конфиденциально, что вчерашний гость ее отца хотел бы сказать ей несколько слов на квартире у ее дяди; расспросил, как найти упомянутую квартиру (оказалось, что это совсем близко); снарядил своего посланного в путь, дав ему полкроны, а затем, наспех проглотив чашку кофе, отправился по указанному адресу.

В доме, где квартировал кларнетист, жильцов было очень много – судя по тому, что дверной косяк был утыкан ручками звонков, как церковный орган клапанами. Пока Артур мешкал перед дверью, стараясь отгадать, который же тут клапан кларнета, из одного окна вылетел волан и упал ему на шляпу. Он поднял голову и увидел в первом этаже окно, до половины закрытое ставнем, на котором было выведено краской: «АКАДЕМИЯ КРИППЛЗА», и чуть пониже: «ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ», а из-за ставня выглядывала бледная рожица мальчугана, державшего в одной руке кусок хлеба с маслом, а в другой – ракетку для игры в волан. Артур вернул волан владельцу, что нетрудно было сделать, так как окно находилось на уровне человеческого роста, и заодно попросил ответа на интересовавший его вопрос.

– Доррит? – переспросил мальчуган с бледной рожицей (это был не кто иной, как мистер Крипплз-младший). – *Мистер* Доррит? Третий звонок слева и раз стукнуть молотком.

Парадная дверь была густо исписана карандашом – как видно, ученики мистера Крипплза пользовались ею вместо тетради. Особенно часто повторялись надписи «Старый хрыч Доррит» и «Дик-Грязнуха», что свидетельствовало о склонности учеников мистера Крипплза к выпадам личного характера. На все эти умозаключения у Артура вполне хватило времени до того, как дверь наконец отворилась. Отворил ее сам старик.

– А-а, – сказал он, лишь после некоторого усилия припомнив Артура. – Вам, стало быть, пришлось заночевать там?

– Да, мистер Доррит. А сейчас я попросил вашу племянницу прийти сюда: мне нужно поговорить с нею.

– А-а! – сказал он, поразмыслив. – Так, чтобы мой брат не слышал? Это правильно. Не угодно ли подняться ко мне и там подождать?

– Благодарю вас.

Старик повернулся, с той же медлительностью, с какой он обдумывал каждое свое или чужое слово, и по узкой лестнице повел Артура в верхний этаж. Дом был старый, тесный, весь пропитанный зловонием. Лестничные окошечки выходили на задворки других таких же зловонных домов, из окон которых протянулись веревки и жерди и на них болталось неприглядное тряпье – словно обитатели забрасывали тут удочки в надежде поймать что-нибудь из белья, но ловилась все такая дрянь, что не стоило даже труда отцеплять ее. В убогой мансарде окнами во двор стоял колченогий стол, а на нем два прибора и остатки завтрака, состоявшего из кофе и поджаренного хлеба – все в большом беспорядке, словно брошенное впопыхах. У стены виднелась кровать, на день превращавшаяся в диван; это превращение, по-видимому, было совершено только что и в такой спешке, что одеяла как бы перекипали через край, не давая закрыться крышке.

В мансарде никого не оказалось. Старик после некоторого размышления пробормотал, что Фанни, видно, убежала, и сунулся было за ней в соседнюю комнату. Но как только он попытался отворить дверь, ее тотчас же захлопнули с криком: «Нельзя, дурень!», при этом мелькнули спущенные чулки и фланелевые нижние юбки, и Кленнэм сделал вывод, что племянница кларнетиста еще в дезабилье. Дядя же никаких выводов не сделал, а попросту отошел, шаркая ногами, от двери, уселся на свое место и машинально принялся греть у огня руки – хотя в комнате вовсе не было холодно. Мало-помалу это обстоятельство дошло до его сознания; он отнял руки от огня, потянулся к каминной полке и достал футляр с кларнетом.

– Что вы думаете о моем брате, сэр? – спросил он гостя.

– Меня очень порадовало, – ответил Артур растерявшись, так как думал в эту минуту не столько о его брате, сколько о нем самом, – меня очень порадовало, что он бодр и здоров.

– У-гу! – пробормотал старик. – Да, да, да, да!

Артур смотрел на него с любопытством, недоумевая, зачем ему вдруг понадобился кларнет. И в самом деле кларнет ему вовсе не был нужен. По прошествии некоторого времени он разобрал, что это не фунтик с табаком (который тоже лежал на каминной полке), положил футляр на место, взял фунтик и угостился понюшкой табаку. Нюхал табак он так же, как и делал все остальное, – медлительно, робко и неуверенно, но все же какая-то тень удовольствия вдруг заиграла в глубоких старческих морщинах, окружавших углы его губ и глаз.

– А Эми, мистер Кленнэм? Что вы думаете об Эми?

– Я глубоко тронут всем тем, что я видел и что я узнал о ней, мистер Доррит.

– Мой брат совсем пропал бы без Эми, – сказал старик. – Мы все без нее пропали бы. Хорошая она девочка, Эми. Всегда помнит свой долг.

В этих одобрительных словах Артуру почудился тот же оттенок равнодушия, который накануне уловил он в тоне отца Эми и который вызвал в нем глубокий внутренний протест и возмущение. Не то чтобы они скупались на похвалы или не замечали того, что девушка для них делала; но по своей душевной лени они принимали ее заботы как нечто привычное и естественное – так же, как принимали все прочее в жизни. Казалось, хотя перед глазами у них было достаточно примеров для сравнения, они не видели никакой разницы между нею и другими, в том числе и собою; ее положение в семье представлялось им чем-то неотъемлемо ей присущим, как ее имя или возраст. Казалось, они вовсе не смотрели на нее как на существо, сумевшее подняться над атмосферой тюрьмы, но, напротив, считали, что она частица этой атмосферы, что она именно то, чем ей положено быть, и ничего больше.

Старик, позабыв о госте, вернулся к своему недоконченному завтраку, но только что он стал жевать размоченный в кофе гренок, как третий звонок слева возвестил о новом посетителе. «Вот это Эми», – сказал дядя и пошел отворять племяннице дверь; а гость смотрел на пустое кресло, словно по-прежнему видел перед собой старика – так ярко запечатлелись в его мозгу эти грязные руки, это лицо, в морщины которого въелась копоть, это дряхлое, сторбленное тело.

Эми вошла в комнату вслед за дядей, в обычном своем простеньком платье, с обычным робким и застенчивым выражением лица. Только губы были слегка приоткрыты, как будто сердце у нее билось сильнее обычного.

– Тут мистер Кленнэм, Эми, – сказал дядя, – он тебя дожидается.

– Я взял на себя смелость послать вам записку.

– Я ее получила, сэр.

– Вы сегодня не идете к моей матери? Как видно, нет, потому что в это время вы уже обычно бываете там.

– Сегодня нет, сэр. Сегодня я там не нужна.

– Позвольте мне проводить вас туда, куда вы направляетесь. Я бы тогда поговорил с вами дорогой, не задерживая вас и не злоупотребляя гостеприимством вашего дядюшки.

Она явно смутилась, но ответила: «Как вам угодно». Он сделал вид, что никак не найдет свою трость, давая ей время привести в порядок кровать, ответить сестре, нетерпеливо стучавшей в стену, шепнуть какие-то ласковые слова дяде. Затем трость нашлась, и Кленнэм, пропустив Эми вперед, стал вместе с нею спускаться по лестнице; а дядюшка стоял на площадке у своей двери и, по всей вероятности, позабыл об их существовании прежде, чем они добрались до нижнего этажа.

Зрелище гостя, выходящего от Дика-Грязнухи, до такой степени поразило учеников Крипплза, собиравшихся в это время на занятия, что они уставились на него во все глаза, бросив даже колотить друг друга ранцами и учебниками, что составляло их обычную утреннюю разминку. Сперва они ограничились безмолвным созерцанием чуда; но как только таинственный посетитель отошел на безопасное для них расстояние, вслед ему полетел град камней и насмешек, сопровождаемых вызывающими плясками; одним словом, трубка мира была зарыта с таким неукоснительным соблюдением дикарского ритуала, что, будь мистер Крипплз раскрашенным в цвета войны вождем племени Крипплаваров, это сделало бы честь его наставническому искусству.

Под эти напутственные возгласы мистер Артур Кленнэм предложил руку Крошке Доррит, и Крошка Доррит оперлась на его руку. «Пойдемте через Железный мост, – предложил он. – Там мы будем дальше от уличного шума». Крошка Доррит ответила: «Как вам угодно» и затем отважилась попросить своего спутника «не обижаться» на учеников мистера Крипплза, в вечерних классах которого она сама приобрела все свои скромные познания. Артур горячо заверил ее, что прощает учеников мистера Крипплза от всей души. Таким образом, Крипплз, сам того не зная, способствовал их более близкому знакомству и сделал это лучше, чем мог бы сделать даже Красавец Нэш, если бы они жили в те золотые времена и если бы он нарочно приехал для этого из Бата в своей карете шестерней.

По-прежнему дул ветер и на улицах было мокро и грязно, но дождь ни разу не настиг их, покуда они шли к Железному мосту. Маленькая спутница Артура казалась ему совсем юной, и он порой ловил себя на том, что мысленно – если не вслух – разговаривает с ней как с ребенком. Может быть, он со своей стороны казался ей стариком.

– Я только что узнала, сэр, что вам пришлось провести ночь в тюрьме. Как это неприятно!

Но он возразил, что это совершенные пустяки. Его отлично устроили на ночь.

– Да, да! – живо подхватила она. – Говорят, в кофейне превосходные постели.

Он почувствовал, что кофейня Маршалси в ее глазах – роскошный отель, славой которого она дорожит и гордится.

– Там только очень дорого, – продолжала Крошка Доррит. – Но мне отец говорил, что там можно великолепно пообедать. И даже с вином, – робко добавила она.

– А вы бывали там?

– Нет, что вы! Я только захожу иногда на кухню за кипятком.

В ее годы все еще испытывать благоговейный восторг перед роскошью такого заведения, как тюремная кофейня!

– Вчера я спрашивал вас, как вы познакомились с моей матерью, – сказал Артур. – Вы когда-нибудь слышали ее фамилию прежде, до того, как попали к ней в дом?

– Нет, сэр.

– А ваш отец – не показалась ли ему эта фамилия знакомой?

– Нет, сэр.

На мгновение он поймал ее взгляд (она тотчас же испуганно опустила глаза), и в этом взгляде было написано такое изумление, что он счел необходимым добавить:

– Мне трудно сейчас объяснить причины, побуждающие меня задавать эти вопросы, но, во всяком случае, уверяю вас, тут нет ни малейшего повода для какого-нибудь беспокойства или опасения с вашей стороны. Скорее напротив. Так вы думаете, ваш отец никогда, ни в какую пору своей жизни не слышал фамилии Кленнэм?

– Нет, сэр.

По звуку ее голоса он догадался, что она снова смотрит на него, полуоткрыв губы от волнения; и он замолчал, устремив глаза вперед, не желая смущать ее дальнейшими расспросами.

Так они вышли на Железный мост, где после уличной суеты было пусто, как в поле. Непогода усиливалась, бурными порывами налетал ветер, сдувал воду с поверхности луж на мостовой и тротуарах и дождем брызг рассыпал ее над рекой. Тучи бешено неслись по свинцово-серому небу; туман и дым стлались им вдогонку; и река мчала в ту же сторону свои суровые темные воды. Казалось, из всех божьих созданий Крошка Доррит – самое маленькое, тихое и слабое.

– Позвольте мне нанять для вас экипаж, – сказал Кленнэм, едва удержавшись, чтобы не добавить «бедное дитя».

Она поспешила отказаться, уверяя, что ей все равно, дождь на дворе или солнце: она привыкла выходить в любую погоду. Он это знал и сам, и сердце его дрогнуло от жалости, когда он представил себе, как эта маленькая фигурка бредет вечером по темным, сырým, кишашим всяким людом улицам, пробираясь к своему убогому пристанищу.

– Вы вчера так участливо говорили со мной, сэр, и, как я узнала потом, столько великодушия выказали моему отцу, что я не могла не отозваться на вашу записку, хотя бы для того, чтобы сказать, как я вам благодарна – тем более что мне очень хотелось попросить вас... – Голос ее задрожал и осекся, слезы набежали на глаза, но не потекли.

– Просить – о чем же?

– Будьте снисходительны к моему отцу, сэр. Не судите его так, как судят тех, кто живет на воле. Он уже столько лет в Маршалси! Я не знаю, каков он был до того, как попал туда, но, наверно, он во многом изменился за это время.

– Могу вас заверить, что я далек от каких-либо жестоких или несправедливых мыслей о нем.

– Это вовсе не значит, что ему есть чего стыдиться, – сказала она с внезапной ноткой гордости, как видно испугавшись, не показалось ли собеседнику, будто она отступает от отца. – Или что я должна стыдиться за него. Его только нужно понять. Нужно только помнить о том, как у него сложилась жизнь. Все, что вы слышали от него, – чистая правда. Все именно так и есть, как он вам рассказывал. Его очень уважают в Маршалси. Каждый, кто попадает туда, за честь считает с ним познакомиться. Его обществом дорожат больше, чем чьим бы то ни было. Даже смотритель не пользуется таким авторитетом.

Если гордость может быть простительной, то вдвойне простительна была гордость Крошки Доррит, выхваляющей заслуги своего отца.

– Про него часто говорят, что у него манеры настоящего джентльмена, так что даже смотреть приятно. Я ни у кого в Маршалси не видела таких манер – да, впрочем, все признают,

что другим у нас далеко до него. Потому ему и делают подарки, а не только из сочувствия к его нужде. А что он терпит нужду, бедный, так разве он в этом виноват? Четверть века прожил в тюрьме, трудно разбогатеть.

Сколько любви в каждом ее слове, сколько сострадания в ее сдерживаемых слезах, сколько величия в ее нежной душе, как яркое солнце подлинный свет, что ложным сиянием окружает голову ее отца!

– Если я скрываю, где мы с отцом живем, то вовсе не потому, что стыжусь его. Сохрани Бог! Я не вижу причин стыдиться и самой тюрьмы. Напрасно думать, будто туда попадают только дурные люди. Я знаю очень много хороших, честных, трудолюбивых людей, которые очутились там по несчастью. И с каким сочувствием почти все они относятся друг к другу! Было бы попросту неблагодарно с моей стороны забыть о том, сколько мирных, беззаботных часов провела я в тюремных стенах; о том, какой чудесный друг нашелся у меня там в мои детские годы и как он любил меня и баловал; о том, что там я училась, там трудилась, там засыпала по вечерам спокойным сном. Только трусливое и бессердечное существо могло бы, помня все это, не питать хотя бы небольшой привязанности к этим стенам.

Излив таким образом переполнявшие ее чувства, она доверчиво подняла глаза на своего нового друга и скромно добавила:

– Я не собиралась говорить так много, да и вообще мне до сих пор никогда не случалось вести подобные разговоры – кроме одного раза. Но мне кажется, так будет лучше. Я вчера высказала сожаление, сэр, что вы выследили, где я живу. Сегодня я уже меньше жалею об этом – даже совсем не жалею, вот только, если я очень путано говорила и вы – и вы меня не поняли. Этого я больше всего боюсь.

Он горячо и искренне заверил, что она может этого не бояться, и стал перед нею, стараясь сколько можно загородить ее от ветра и начавшегося дождя.

– Теперь, – сказал он, – вы, надеюсь, позволите мне задать еще кое-какие вопросы, касающиеся вашего отца. У него много кредиторов?

– Да, очень много.

– Я имею в виду кредиторов, которые держат его в тюрьме.

– Да, да, очень много.

– Можете ли вы сказать мне (если нет, не беспокойтесь, я добуду эти сведения другим путем) – можете ли вы сказать, кто из них наиболее влиятельный?

Крошка Доррит подумала с минуту, затем ответила, что в детстве ей часто приходилось слышать фамилию мистера Тита Полипа, о котором говорили как о человеке весьма могущественном. Он был какой-то важный чиновник, член совета по управлению или опеке над кем-то или чем-то. Жил он, помнится, на Гровенор-сквер или где-то поблизости и занимал высокий, очень высокий пост в Министерстве Волокиты. Казалось, она с юных лет была так подавлена мыслью о могуществе этого грозного мистера Тита Полипа из Министерства Волокиты, живущего на Гровенор-сквер или где-то поблизости, что один звук его имени и сейчас повергал ее в трепет.

«Попробую повидать этого мистера Тита Полипа, – решил про себя Артур, – это не помешает».

Но Крошка Доррит словно перехватила его мысль.

– Ах! – воскликнула она, качая головой с отчаянием, притупившимся от времени. – Сколько людей пыталось уже освободить моего отца из тюрьмы! Увы, это безнадежно.

Она даже позабыла свою робость, честно стремясь предостеречь его от бесплодных попыток поднять со дна затонувшие обломки крушения; но ее взгляд, устремленный на него, ее кроткое лицо, хрупкая фигурка в плохоньком платье, и ветер и дождь – все это лишь укрепило его желание помочь ей.

– Но пусть бы даже его освободили – хоть я знаю, что этого не может быть, – продолжала она, – куда бы он пошел, где и как стал бы жить? Я часто думаю, что сейчас такая перемена в его судьбе сослужила бы ему плохую службу. Быть может, на воле к нему относились бы хуже, чем относятся здесь. Быть может, его не щадили бы так, как здесь щадят. Быть может, жизнь на воле оказалась бы теперь не по нем.

Тут в первый раз она не смогла удержать слез, и ее худенькие ручки, в которых так спорилась работа, судорожно сжались.

– А как бы он огорчился, узнав, что я понемножку тружусь ради заработка, и Фанни тоже. Он ведь так тревожится о нас, сознавая беспомощность своего положения. Он такой добрый, такой хороший отец!

Артур помолчал, ожидая, когда уляжется эта вспышка горя. Ждать пришлось недолго. Крошка Доррит не привыкла много думать о себе и не привыкла беспокоить других своими печальями. Он лишь успел обежать взглядом нагромождение крыш и труб, над которым клубились тяжелые облака дыма, и лес мачт на реке, и лес колоколен на берегу, чьи очертания смешивались во мгле непогоды, – и когда он вновь повернулся к ней, это была снова та тихая и спокойная Крошка Доррит, которую он привык видеть за шитьем в комнате своей матери.

– Вы были бы рады, если б вашего брата выпустили из тюрьмы?

– О сэр, я была бы счастлива!

– Ну что ж, может быть, с ним будет не так трудно. Вчера в разговоре вы упомянули о каком-то друге.

Крошка Доррит назвала фамилию этого друга: Плорниш.

А где он живет, Плорниш? В Подворье Кровоточащего Сердца. Он простой каменщик, поторопилась объяснить Крошка Доррит, как бы для того, чтобы Артур не строил себе иллюзий относительно общественного положения Плорниша. Он живет в крайнем доме Подворья Кровоточащего Сердца, там над дверью есть дощечка с его именем.

Артур записал адрес и дал Крошке Доррит свой. Больше ему пока не о чем было с ней говорить, но, расставаясь, он хотел быть уверенным, что она готова положиться на него, и услышать от нее что-нибудь в подтверждение этого.

– Ну вот, – сказал он, пряча записную книжку в карман. – А теперь я провожу вас обратно – ведь вам нужно вернуться, правда?

– Да, сэр, я сейчас прямо домой!

– Я провожу вас обратно, – слово «домой» резало ему слух, – и на прощанье попрошу вас считать, что отныне у вас есть еще один друг. Я не люблю пышных фраз и больше ничего не скажу.

– Больше ничего и не надо говорить, сэр. Вы очень добры ко мне, и я вам верю.

Они пошли обратно по грязным, неприглядным улицам, мимо жалких нищенских лавчонок, пробираясь в пестрой толпе разносчиков и торговков, которыми всегда кишат кварталы бедноты. Не на чем было тут отдохнуть хотя бы одному из пяти человеческих чувств. Но для Кленнэма, бережно ведшего под руку свою легкую, тоненькую спутницу, это не было обыкновенное путешествие под дождем, по уличной грязи и в уличном шуме. Казалась ли она ему девочкой, а он ей – стариком; оставались ли они тайной друг для друга, идя навстречу предначертанному переплетению своих судеб, – не в этом дело. Он думал о том, что она родилась и выросла среди подобных жизненных картин и поныне продолжает робко существовать в этом мире, таком привычном ей и в то же время таком чуждом; о том, как рано ей пришлось изведать неприглядные тяготы жизни и как она еще невинна; об ее постоянной заботливости к другим; об ее юных годах и детском облике.

Только что они свернули на Хай-стрит, где помещалась тюрьма, как чей-то голос закричал сзади: «Маменька, маменька!» Крошка Доррит оглянулась, и в ту же минуту какая-

то странная фигура с корзиной в руке налетела на них впопыхах (все с тем же криком «маменька»), споткнулась, упала и рассыпала в грязь картофель из корзины.

– Ах, Мэгги, – сказала Крошка Доррит, – ну что ты за неловкое дитя!

Как видно, Мэгги не ушиблась, потому что она тотчас же вскочила и принялась подбирать картофель, в чем ей помогли и Крошка Доррит и Артур Кленнэм. Мэгги подобрала больше грязи, чем картофелин; но в конце концов все было собрано и уложено в корзину. После этого Мэгги вытерла шалью свое измазанное лицо и представила его взгляду Кленнэма в качестве образца чистоты.

Это была женщина лет двадцати восьми, с большой головой, с большим лицом, с большими руками и ногами, с большими глазами и совершенно без волос. Глаза, светлые, почти белесые, смотрели как-то неестественно неподвижно, как будто зрачки их были почти нечувствительны к свету. Выражение лица казалось напряженно внимательным, как бывает у слепых; но она не была слепа, так как один глаз у нее видел довольно сносно. Ее нельзя было назвать безобразной, хотя спасала ее только улыбка – добродушная улыбка, привлекательная, но в то же время жалкая, должно быть, оттого, что она никогда не сходила с лица. Отсутствие волос на голове должен был скрыть огромный белый чепец с густой оборкой, которая так топорщилась во все стороны, что старенькая черная шляпка не могла удержаться на голове и, свалившись, висела у Мэгги за плечами наподобие того, как носят своих детей цыганки. Чтобы определить, из чего состоит ее убогое одеяние, понадобился бы консилиум старьевщиков; неопытному же глазу оно больше всего напоминало пучок водорослей, в которых кое-где запутались огромные чайные листья. Ее шаль особенно сильно смахивала на чайный лист, долго мокнувший в кипятке.

Артур Кленнэм посмотрел на Крошку Доррит взглядом, в котором ясно читался вопрос: «Кто это?» Крошка Доррит, не отнимая у Мэгги своей руки, которую та любовно гладила, ответила вслух (они в это время стояли в подворотне, куда закатилась большая часть картофелин):

– Это Мэгги, сэр.

– Мэгги, сэр, – повторила, точно эхо, представляемая особа. – Маменька!

– Она – внучка... – продолжала Крошка Доррит.

– Внучка, – повторила Мэгги.

– ...моей старой няни, которая давно умерла. Мэгги, сколько тебе лет?

– Десять, маменька, – сказала Мэгги.

– Если б вы знали, сэр, какая она добрая, – сказала Крошка Доррит с невыразимой нежностью.

– Какая *она* добрая, – повторила Мэгги, выразительно подчеркивая местоимение и тем самым относя его к своей маленькой «маменьке».

– А какая умница, – продолжала Крошка Доррит. – Она справляется с любыми поручениями. – Мэгги засмеялась. – И надежна, как Английский банк. – Мэгги засмеялась. – Она сама зарабатывает себе на хлеб. Сама, сэр! – сказала Крошка Доррит с гордостью, слегка понизив голос. – Честное слово.

– Расскажите мне ее историю, – попросил Кленнэм.

– Подумай только, Мэгги! – воскликнула Крошка Доррит и, взяв ее большие руки в свои, захлопала ими в ладоши. – Джентльмен, который объехал чуть не весь свет, интересуется твоей историей!

– *Моей* историей? – воскликнула Мэгги. – Маменька!

– Это она меня так называет, – смущенно пояснила Крошка Доррит, – она ко мне очень привязана. Ее бабушка не всегда была ласкова с ней – верно, Мэгги?

Мэгги затрясла головой, сложила левую руку трубочкой, сделала вид, что пьет, и сказала: «Джин!» Потом прибила воображаемого ребенка и добавила: «Метла и кочерга!»

– Когда Мэгги было десять лет, сэр, она перенесла тяжелую горячку, – сказала Крошка Доррит, следя за выражением ее лица, – и с тех пор она не становится старше.

– Десять лет, – утвердительно кивнула головой Мэгги. – До чего ж там славно, в больнице! Вот уж где хорошо, так хорошо! Прямо как в раю.

– Ей никогда прежде не приходилось жить спокойно, – сказала Крошка Доррит, оглянувшись на Артура и понизив голос, – вот она и не может забыть эту больницу.

– Какие там постельки! – не унималась Мэгги. – Какой лимонад! Какие апельсины! А бульон какой, а вино! А курятина какая! Век бы не уходила оттуда!

– Вот Мэгги и оставалась там сколько можно было, – продолжала Крошка Доррит тоном, предназначенным для ушей Мэгги, словно рассказывая детскую сказку, – а когда уж больше нельзя было там оставаться, она оттуда вышла. Но с тех пор ей лет не прибавляется, так и осталось десять на всю жизнь...

– На всю жизнь, – повторила Мэгги.

– А кроме того, она тогда очень ослабела, так ослабела, что, если, например, ей случилось засмеяться, она никак не могла перестать, и это было очень нехорошо...

(Мэгги сразу нахмурилась.)

– Бабушка не знала, что с ней делать, и оттого была с ней очень строга. Но прошло несколько лет, и Мэгги захотелось исправиться; она очень старалась и мало-помалу послушанием и прилежанием добилась того, что ей уже разрешили уходить и возвращаться когда угодно, и она стала сама зарабатывать себе на хлеб и теперь зарабатывает достаточно, чтобы ни от кого не зависеть. Вот, – сказала Крошка Доррит, снова ударяя одной ее ладонью о другую, – вот вам и вся история Мэгги, которую она сама может подтвердить!

Но Артуру Кленнэму нетрудно было угадать, что осталось недосказанным в этой истории – даже если бы он не слышал слова «маменька», даже если бы не видел ласкового поглаживания хрупкой маленькой руки большой шершавой ладонью; даже если бы от его глаз укрылись слезы, выступившие на выпученных глазах; даже если бы до его ушей не долетело короткое всхлипыванье, оборвавшее нелепый смех. И сколько ни вспоминал он потом эту темную подворотню, исхлестанную дождем и ветром, эту корзинку залепленного грязью картофеля, дождавшегося, чтобы его снова вывалили в грязи, все это никогда не казалось ему таким обыденным и неприглядным, как оно было на самом деле. Никогда, никогда!

Они были уже почти у цели, когда произошла эта встреча, и теперь, выйдя из подворотни, хотели было направиться прямо к воротам тюрьмы. Но им пришлось остановиться по дороге у бакалейной лавки в угоду Мэгги, непременно желавшей выказать перед ними свои познания. Она с грехом пополам умела читать и довольно бойко разбиралась в жирных цифрах, проставленных на ярлыках с обозначением цен. Ей даже удалось, храбро выпутываясь из ошибок, одолеть афишки, на которых настойчивые человеколюбивые увещания: «Пробуйте нашу Леденцовую Смесь, Пробуйте нашу Семейную Ваксу, Пробуйте наш Ароматный Черный Чай «Померанцевый букет», Лучший из Существующих Сортав Цветочного Чая» – перемешивались с не менее настойчивыми призывами остерегаться подделок и подражаний. И, видя, как лицо Крошки Доррит розовеет от удовольствия при каждой новой удаче Мэгги, Артур Кленнэм готов был без конца изучать свод премудростей бакалейной витрины, состязаясь в упорстве с дождем и ветром.

Наконец они все же очутились в наружном двореке тюрьмы, и там он распрощался с Крошкой Доррит. Никогда еще не казалась она ему такой крошечной, как в ту минуту, когда входила в ворота вместе с Мэгги – маленькая маменька и ее большое дитя.

Дверца отворилась, пташка, выросшая в неволе, покорно впорхнула в свою клетку, и дверца затворилась снова; Артур проводил ее глазами и пошел домой.

Глава X, заключающая в себе всю науку управления

Министерство Волокиты (как известно каждому и без пояснений) всегда было самым важным учреждением в государстве. Ни одно общественное предприятие не может осуществиться, не будучи одобрено Министерством Волокиты. Оно – всюду, где только запахнет жареным, что бы ни жарилось, огромный общественный гусь или малюсенькая общественная куропатка. Нельзя ни совершить заведомо справедливый поступок, ни исправить заведомую несправедливость, не получив на то особого разрешения Министерства Волокиты. Если бы возник в наши дни новый Пороховой заговор и был раскрыт за полчаса до взрыва, кто осмелился бы спасти парламент, не дожидаясь, пока Министерство Волокиты назначит полдюжины комиссий, составит полбушеля протоколов, разошлет несколько мешков циркуляров и накопит такое количество не слишком грамотной переписки, которым можно бы забить целый фамильный склеп.

Это славное учреждение появилось на свет тогда, когда государственные мужи открыли один великий и непревзойденный принцип, исчерпывающий все трудное искусство управления страной. Оно первым сумело усвоить этот благодетельный принцип и с успехом стало руководствоваться им в своей официальной деятельности. Как только выяснялось, что нужно что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех других государственных учреждений изыскивало способ *не делать того, что нужно*.

Тонкое чутье, при этом проявленное, такт, с которым неизменно улавливалась самая суть вышеупомянутого принципа, и несравненное умение применять его на деле привели к тому, что Министерство Волокиты стало играть главную роль в нашей общественной жизни, а наша общественная жизнь – стала тем, что она есть.

Правда, вопрос, *как не делать того, что нужно*, обстоятельно изучался и разрабатывался также всеми другими государственными учреждениями и политическими деятелями. Правда, каждый новый премьер-министр и каждое новое правительство, придя к власти благодаря обещанию сделать то-то и то-то, сейчас же употребляли все усилия на то, чтобы этого не делать. Правда, те самые избранники народа, которые во время избирательной кампании метали громы и молнии из-за того, что то-то и то-то не было сделано, и грозно требовали у сторонников кандидата противной партии ответа, почему то-то и то-то не было сделано, и громкогласно утверждали, что оно должно быть сделано, и торжественно ручались, что оно будет сделано, – назавтра после всеобщих выборов уже ломали голову над тем, как устроить, чтобы оно не было сделано. Правда, сущность дебатов обеих палат с начала и до конца сессии сводилась к пространному обсуждению вопроса, *как не делать того, что нужно*. Правда, тройная речь при открытии сессии гласила примерно следующее: Лорды и джентльмены, вам нужно сделать многое, а потому приглашаю вас разойтись по своим палатам и приступить к изысканию способа не делать того, что нужно. Правда, тронная речь при закрытии сессии гласила примерно следующее: Лорды и джентльмены, вы славно потрудились в течение нескольких месяцев, блюдя свой верноподданнический и патриотический долг; вы ревностно старались не делать того, что нужно, и вам это удалось; а потому, призвав благословение Божие на урожай этого года (я говорю о хлебе, а не о политике), приглашаю вас разъехаться по домам. Все это правда, но Министерство Волокиты пошло еще дальше.

Ибо в Министерстве Волокиты постоянно, безостановочно, изо дня в день работал этот чудодейственный универсальный двигатель государственного управления: *не делать того, что нужно*. И если вдруг оказывалось, что какой-то недогадливый чиновник намеревается что-то сделать, и возникало малейшее опасение, как бы непредвиденный случай чего доброго не помог ему в этом, Министерство Волокиты всегда умело с помощью циркуляра, отношения или предписания вовремя погасить его пыл. Именно дух общественной пользы, столь сильный

в Министерстве Волокиты, побуждал его вмешиваться решительно во все. Механики, натуралисты, солдаты, моряки, составители прошений, авторы мемуаров, жалобщики, ответчики по жалобам, разбиратели жалоб, барышники, жертвы барышников, те, кому не удалось получить заслуженной награды, и те, кому удалось не понести заслуженного наказания, – все без разбора оказывались погребенными в бумажных недрах Министерства Волокиты.

Множество народу пропало без вести в Министерстве Волокиты. Какой-нибудь неудачник, обремененный горестями, или составитель проекта всеобщего благосостояния (что в Англии является верным средством нажить себе горести, если их не имеешь) долго мыкается по различным государственным учреждениям – в одном его запугивают, в другом обманывают, в третьем водят за нос, но вот, наконец, благополучно выбравшись, он попадает в Министерство Волокиты, и больше ему уже никогда не увидеть света божьего. Заседают комиссии, бормочут докладчики, строчат протоколы секретари, множатся выписки, справки, акты, копии, и глядишь – человека не стало. Коротко говоря, все дела, вершащиеся в стране, проходят через Министерство Волокиты, за исключением тех, которые застревают в нем, а имя таким легион.

Порой Министерство Волокиты подвергалось нападкам со стороны смутьянов. Порой жалкие демагоги, полагавшие в своем невежестве, что истинной заботой правителей должно быть, как делать то, что нужно, выступали в парламенте с запросами или даже предложениями по этому поводу. И тогда благородный лорд или уважаемый джентльмен, по ведомству которого числилось ограждение интересов Министерства Волокиты, клал в карман апельсин и кидался в бой. Стукнув по столу кулаком, он обрушивался на уважаемого сочлена, осмелившегося высказать крамольную точку зрения. Он считал долгом заметить уважаемому сочлену, что Министерство Волокиты не только не заслуживает критики в данном вопросе, но что оно достойно одобрения в данном вопросе – что оно выше всяких похвал в данном вопросе. Он также считал своим долгом заметить уважаемому сочлену, что хотя Министерство Волокиты всегда и во всем бывает право, но никогда еще оно не было до такой степени право, как в данном вопросе. Он также считал своим долгом заметить уважаемому сочлену, что, если б у него было больше уважения к самому себе, больше такта, больше вкуса, больше здравого смысла и больше разных других качеств, для перечисления которых понадобился бы целый толстый лексикон общих мест, он вообще не касался бы деятельности Министерства Волокиты, особенно в данном вопросе. Затем, скосив глаза на представителя Министерства Волокиты, призванного служить ему поддержкой и опорой, он обещал полностью разбить уважаемого сочлена изложением аргументов Министерства Волокиты по данному вопросу. При этом обычно происходило одно из двух: либо у Министерства Волокиты вовсе не оказывалось аргументов, либо благородный лорд или уважаемый джентльмен ухитрялся половину таковых позабыть, а другую перепутать – впрочем, и в том и в другом случае деятельность Министерства Волокиты подавляющим большинством голосов признавалась безупречной.

Все это с течением времени настолько упрочило славу Министерства Волокиты как питомника государственных мужей, что иной величественный лорд приобретал репутацию гениального правителя лишь тем, что некоторое время упражнялся в искусстве не делать того, что нужно, возглавляя названное учреждение. Что же до более мелких жрецов и служителей этого культа, то все они, вплоть до последнего мальчишки-рассыльного, делились на два лагеря: одни свято верили в божественную природу Министерства Волокиты и непререкаемость его права вершить дела по-своему, другие же, ударившись в безбожие, считали его существование бесполезным и даже вредным.

Уже не первый год в руководстве Министерством Волокиты большое участие принимало семейство Полипов. В частности, та его ветвь, к которой принадлежал мистер Тит Полип, была убеждена, что эта руководящая роль принадлежит ей по праву, и встречала в штыки любую попытку со стороны какого-нибудь другого семейства подвергнуть это сомнению. Род Полипов был весьма знаменитым и весьма разветвленным. Его отпрыски имелись во всех государственных

ных учреждениях и занимали всевозможные государственные должности. То ли Англия была многим и многим обязана Полипам, то ли Полипы были многим и многим обязаны Англии – на этот счет существовали две разные точки зрения: у Полипов своя, у Англии своя.

Мистер Тит Полип, на котором в описываемое время лежала обязанность подписывать и поддерживать официального главу Министерства Волокиты, когда сей благородный и уважаемый государственный муж начинал съезжать с седла вследствие злого выпада какого-либо газетного писателя, скорее мог похвалиться происхождением, чем состоянием. Как истинный Полип, он был пристроен к месту, и надо сказать, это было весьма уютное и теплое местечко; как истинный Полип, он, разумеется, уже пристроил туда же своего сынка, Полипа-младшего. Но, на беду, он сочетался браком с представительницей семейства Чваннингов, у которой также дело обстояло благополучнее по части древности рода, чем по части движимого и недвижимого имущества. От этого союза произошли Полип-младший и три прелестные девы. А так как и Полип-младший, и прелестные девы, и миссис Тит Полип, née¹ Чваннинг, и сам мистер Тит Полип привержены были к аристократическому образу жизни, то срок от жалования до жалования всегда казался мистеру Титу Полипу чрезмерно растянутым, что давало ему повод обвинять государство в скупости.

В один прекрасный день Артур Кленнэм пятый раз явился в Министерство Волокиты, желая переговорить с мистером Титом Полипом. При первом посещении ему пришлось дожидаться в сенях, при втором – в какой-то стеклянной клетке, при третьем – в приемной, при четвертом – в огнеупорной галерее, где, по-видимому, хранился весь местный запас сквозняков. На этот раз, в отличие от предыдущих, мистер Тит Полип не был занят с очередным титулованным гением, возглавлявшим Министерство, но попросту отсутствовал. Артура утешили сообщением, что на министерском небосводе еще сияет другое, меньшее светило – Полип-младший.

Артур выразил желание переговорить с Полипом-младшим, и его провели в кабинет, где означенный молодой джентльмен поджаривал себе икры у родительского камина, опираясь позвоночником о каминную доску. Кабинет, просторный и удобный, был обставлен в лучшем бюрократическом вкусе: толстый ковер на полу, обитая кожей конторка для работы сидя, обитая кожей конторка для работы стоя, кресло устрашающих размеров, экран и коврик перед камином, обрывки бумаг, папки дел, из которых торчали бумажные ярлыки, придавая им сходство с аптекарскими склянками или чучелами птиц, стойкий запах кожи и красного дерева – все в этой комнате, своим бутафорским видом словно говорившей о том, как не делать того, что нужно, было проникнуто величественным духом отсутствующего Полипа.

Полип присутствующий, который в данную минуту держал в руке карточку Артура Кленнэма, обладал совсем ребяческой физиономией, украшенной преуморительными бакенбардами. Реденький пушок, прикрывавший его круглый подбородок, делал его похожим на неоперившегося птенца; сердобольный человек, пожалуй, порадовался бы, видя, как он поджаривает себе икры у камина: иначе бедняжка, того и гляди, погиб бы от холода. На шее у Полипа-младшего болтался щегольской монокль, но, к несчастью, глазницы у него были так неглубоки, а веки так слабы, что стеклышко не держалось в глазу и всякий раз выскакивало, щелкая о жилетную пуговицу, к немалому огорчению его носителя.

– Э-э! Послушайте! Моего отца нет и сегодня не будет, – сказал Полип-младший. – Может быть, я могу его заменить?

(Щелк! Монокль выскочил. Полип-младший в панике обшаривает себя со всех сторон, но не может его найти.)

– Благодарю вас за любезность, – сказал Артур Кленнэм, – но мне все-таки хотелось бы увидеть мистера Полипа.

¹ Урожденная (*фр.*).

– Э-э! Послушайте! Так ведь вам же не назначен прием, – сказал Полип-младший.
(Монокль тем временем обнаружен и снова вставлен в глаз.)

– Нет, – согласился Артур. – Но я как раз и добиваюсь приема.

– Э-э! Послушайте! А вы по какому делу, по государственному? – спросил Полип-младший.

(Клик! Монокль выскочил снова. Полип-младший настолько поглощен погоней за ним, что мистер Кленнэм решает повременить с ответом.)

– Это не насчет судебных сборов? – спросил Полип-младший, только что заметив бронзовый цвет лица посетителя.

(В ожидании ответа он пальцами раскрывает правый глаз и с такой силой втыкает монокль, что глаз начинает отчаянно слезиться.)

– Нет, – сказал Артур. – Это не насчет судебных сборов.

– Так послушайте. Вы, значит, по частному делу?

– Право, не знаю, как сказать. Дело это касается некоего мистера Доррита.

– Послушайте, тогда вот что. Самое лучшее, зайдите к нам домой. Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, номер двадцать четыре. У отца легкий приступ подагры, так что вы его застанете дома.

(Злосчастный юный Полип уже совсем ослеп на один глаз, но не решается разрушить то, что он с таким трудом создал.)

– Благодарю вас. Я тотчас же отправлюсь туда. До свидания.

Юный Полип был явно разочарован, как будто не ожидал, что его советом воспользуются.

– Послушайте! – окликнул он Кленнэма, когда тот был уже у двери; юному Полипу очень не хотелось расстаться с осенившей его блистательной деловой идеей. – А вы вполне уверены, что это не касается судебных сборов?

– Вполне уверен.

С этими словами мистер Кленнэм отправился продолжать свои поиски, мысленно гадая, – а что было бы, если бы он в самом деле пришел сюда насчет судебных сборов?

Мьюз-стрит, или Конюшенный переулок, находился не то чтобы на Гровенор-сквер, но совсем рядом. Это был узкий загаженный тупичок, где вперемежку с брандмауэрами теснились конюшни и каретники, а на чердаках над каретниками обитали извозчицьи семейства, одержимые страстью сушить белье и украшать подоконники миниатюрными шлагбаумами. Главный трубочист этого аристократического квартала проживал в глухом конце тупичка, а напротив помещалось заведение, где на рассвете и в сумерки шла бойкая торговля винными бутылками и кухонными отбросами. Здесь часто можно было видеть прислоненную к брандмауэру ширму бродячих кукольников – а сами кукольники в это время обедали где-нибудь по соседству; здесь же происходили дружеские сборища всех окрестных собак. Но в том конце Мьюз-стрит, который был ближе к Гровенор-сквер, стояло два или три тесных, неудобных дома, которые сдавались за непомерную цену благодаря своему положению жалких прихвостней большого света; и когда какой-нибудь из этих дрянных курятников пустовал (что случалось редко, так как охотников на них всегда было хоть отбавляй), то в объявлениях агента по найму домов он фигурировал как барский особняк в самой фешенебельной части города, населенной исключительно сливками *beau monde*².

Если бы аристократизм рода Полипов не обязывал представителя *beau monde*'а жить именно в барском особняке, отвечающем этим жестким требованиям, он мог бы выбирать по меньшей мере из десятка тысяч домов втрое дешевле и в пятьдесят раз удобнее. Но мистер Тит Полип был лишен такой возможности, и, страдая от отчаянных неудобств и отчаянной доро-

² Высший свет (*фр.*).

говизны своего барского особняка, он, как государственный чиновник, винил во всем государство и его скупость.

Разыскав наконец номер двадцать четвертый по Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, Артур Кленнэм увидел перед собой сплюснутый фасад с покосившимся парадным крыльцом, немывыми тусклыми оконцами и темным двориком, похожим на оттопыренный жилетный карман. Если говорить о запахах, то дом был точно бутылка с крепким настоем навоза, и лакей, отворивший Артуру дверь, словно вышиб из бутылки пробку.

Лакей по сравнению с гровенорскими лакеями представлял собой то же, что дом по сравнению с гровенорскими домами. Он был по-своему великолепен, но то было великопие задворок и черных лестниц. Его ливрея блестела чем угодно, кроме чистоты, а цвет лица и расторопность весьма пострадали от пребывания в душной лакейской. Довольно желтой и расслабленной выглядела личность, которая откупорила бутылку и поднесла ее к самому носу Кленнэма.

– Будьте добры, передайте мистеру Титу Полипу мою карточку и скажите, что я только что беседовал с мистером Полипом-младшим и пришел сюда по его совету.

Лакей (он был украшен таким количеством карманов, застегнутых на большие пуговицы с гербом Полипов, что можно было предположить, будто он служит хранилищем фамильного серебра и драгоценностей и для верности носит их всегда при себе) взял карточку, подумал над ней немного и затем сказал: «Пожалуйте».

Нужна была немалая осмотрительность, чтобы, последовав этому приглашению, не стукнуться в темноте лбом о внутреннюю дверь и со страху и сослепу не покатиться тут же по лестнице, ведущей в подвал. Но посетитель счастливо избежал этой опасности и благополучно ступил на коврик прихожей.

Услышав вторичное «пожалуйте», посетитель двинулся за лакеем дальше. Распахнулась еще одна дверь – вылетела пробка еще из одной бутылки. Новый сосуд содержал, по-видимому, экстракт кухонных помоев. Затем произошло небольшое замешательство, вызванное тем, что лакей необдуманно отворил дверь мрачной столовой, неожиданно обнаружил там кого-то и немедленно попятился назад, наступая посетителю на ноги. Наконец посетитель был загнан в маленькую тесную гостиную в конце узкого коридора, где, дожидаясь, пока о нем доложат, он мог вдыхать освежающий аромат из обеих бутылок сразу, любоваться видом на заднюю стену соседнего дома, торчавшую в трех футах от окна, и размышлять о том, много ли на свете семейств Полипов, которые из тщеславия селятся по доброй воле в таких трущобах.

Мистер Полип готов принять его. Угодно ему подняться наверх? Ему было угодно, и он поднялся; и вот, в своей парадной гостиной, сидя в кресле и вытянув на стул большую ногу, предстал перед ним сам мистер Полип, символ и воплощение великого принципа: не делать того, что нужно.

Мистер Полип помнил лучшие времена, когда государство было не столь скупое, а враги Министерства Волокиты не столь придирчивы. Шея мистера Полипа была обмотана белым платком так же туго, как он обматывал шею государства канцелярской писаниной. У него были внушительные манжеты и воротничок, внушительный голос и внушительные манеры. Его украшала массивная часовая цепочка со связкой печаток, застегнутый до последней возможности сюртук, застегнутый до последней возможности жилет, панталоны без единой морщинки и негнущиеся сапоги. Он был великолепен, строг, солиден и неприступен. Казалось, он всю свою жизнь позировал для портрета сэру Томасу Лоуренсу.

– Мистер Кленнэм, если не ошибаюсь? – сказал мистер Полип. – Прошу садиться.

Мистер Кленнэм исполнил просьбу.

– Вы как будто заходили ко мне в Министерство Волокиты, – сказал мистер Полип, прозвонив последнее слово так, словно в нем было по меньшей мере двадцать пять слогов.

– Да, я взял на себя такую смелость.

Мистер Полип величественно наклонил голову, как бы говоря: это, безусловно, была смелость с вашей стороны, но раз уж так случилось, вы можете взять на себя дополнительную смелость изложить мне свое дело.

– Считаю долгом предупредить вас, что я довольно долго жил в Китае, чувствую себя почти чужим на родине и не имею никакой личной или корыстной заинтересованности в том деле, которое меня к вам привело.

Мистер Полип слегка побарабанил пальцами по столу с таким видом, словно собирался позировать новому, незнакомому художнику и хотел сказать ему: «Вы меня очень обяжете, воспроизведя на портрете то возвышенное выражение, которое вы сейчас наблюдаете на моем лице».

– Я познакомился в тюрьме Маршалси с несостоятельным должником по фамилии Доррит, который провел там почти половину жизни. Я хотел бы разобраться в положении его дел, представляющемся мне весьма запутанным, и узнать, нельзя ли сейчас, после стольких лет, хотя бы немного облегчить его участь. Когда я пытался выяснить, кто является наиболее влиятельным среди кредиторов, мне назвали имя мистера Полипа. Это соответствует истине?

Одно из основных правил Министерства Волокиты – никогда, ни при каких обстоятельствах не давать прямого ответа, и потому мистер Полип сказал:

– Возможно.

– А позвольте спросить, вы выступаете как представитель государства или как частное лицо?

– Министерство Волокиты, сэр, – ответил мистер Полип, – я не утверждаю, я только допускаю возможность, – Министерство Волокиты, возможно, способствовало вчинению иска против некоего обанкротившегося предприятия, или фирмы, или товарищества, к которому принадлежало упомянутое вами лицо. Вопрос мог быть в ходе официального делопроизводства направлен на рассмотрение Министерства Волокиты. Министерство могло издать или санкционировать предписание о вчинении такого иска.

– Очевидно, следует предположить, что так оно и было?

– Министерство Волокиты, – сказал мистер Полип, – не несет ответственности за предположения частных лиц.

– А где бы я мог навести официальную справку о состоянии этого дела?

– Любому из – Публики, – сказал мистер Полип, с неохотой выговаривая название неопределенного сообщества, в котором он явно видел своего природного врага, – предоставлено право обращаться с запросами в Министерство Волокиты. Разъяснения относительно соблюдения необходимых формальностей даются в соответствующем департаменте Министерства.

– А в каком именно?

– Для получения ответа на этот вопрос соблаговолите обратиться непосредственно в Министерство, – сказал мистер Полип и позвонил.

– Прошу извинить, но...

– Министерство вполне доступно для – для Публики (мистера Полипа неизменно шокировал дерзкий смысл, заключенный в этом слове), если она, Публика, обращается к нему в официально установленном порядке; если же она, Публика, обращается не в официально установленном порядке, то это ее, Публики, вина.

Мистер Полип отвесил Кленнэму сдержанный поклон, в котором оскорбленное достоинство отца семейства соединялось с оскорбленным достоинством должностного лица и с оскорбленным достоинством жителя великосветского квартала; Кленнэм в свою очередь отвесил поклон мистеру Полипу, после чего расслабленный слуга выпроводил его на Мьюз-стрит.

Пораздумав немного, он решил, что хотя бы ради испытания своего упорства еще раз пойдет в Министерство Волокиты и попробует добиться там какого ни на есть толку. И спу-

стя короткое время он снова вступил под своды Министерства Волокиты и снова отправил свою карточку Полипу-младшему через рассыльного, который весьма неодобрительно отнесся ко вторичному появлению назойливого посетителя, тем более что должен был из-за него оторваться от картофеля с мясной подливкой, которым в это время лакомился за перегородкой у камина.

Полип-младший по-прежнему томился в отцовском кабинете в ожидании, когда стрелка часов доползет до четырех; только теперь он поджаривал не икры, а коленки.

– Э-э! Послушайте! Какого черта вы к нам привязались, – сказал Полип-младший, оглянувшись через плечо.

– Я хотел бы узнать...

– Э-э! Черт побери! Это, знаете, не годится – чтобы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать, – сердито сказал Полип-младший, повернувшись лицом к посетителю и вставив монокль в глаз.

– Я хотел бы узнать, – повторил Артур Кленнэм, решивший изложить свою надобность в нескольких словах и не отступать, пока не добьется ответа, – каковы претензии, предъявленные государством к несостоятельному должнику по фамилии Доррит.

– Э-э! Послушайте! Вы что-то уж очень торопитесь. Ведь вам, знаете, даже не назначен прием, – сказал Полип-младший, обеспокоенный тем, что дело словно бы принимает серьезный оборот.

– Я хотел бы узнать, – снова начал Артур. И повторил свою формулу.

Полип-младший вытаращил на просителя глаза так, что монокль сразу же выпал; он его поймал, вставил, снова вытаращил глаза, и монокль снова выпал.

– Но так же нельзя, не полагается, – запротестовал он в крайней растерянности. – Послушайте! Что это вообще все значит? Ведь вы мне сказали, что не знаете, государственное это дело или нет.

– А теперь я выяснил, что это дело государственное, – возразил Артур, – и я хотел бы узнать... – последовало повторение той же формулы.

В ответ на что юный Полип беспомощно повторил:

– Э-э! Не годится, черт побери, чтобы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать! – В ответ на что Артур Кленнэм повторил свой вопрос тем же тоном и теми же словами. В ответ на что юный Полип явил собою законченный образец полнейшей растерянности и недоумения.

– Послушайте, я вам вот что скажу. Лучше всего обратитесь в канцелярию к секретарю, – вымолвил он наконец и бочком потянулся к колокольчику. – Дженкинсон! – сказал он вошедшему на звонок любителю картофеля с подливкой. – К мистеру Уобблеру!

Решив, что раз уж он собрался взять приступом Министерство Волокиты, отступить нельзя, Артур последовал за рассыльным на другой этаж министерского здания, и там сей почтенный деятель указал ему помещение, где занимался мистер Уобблер. Артур толкнул указанную дверь и очутился в комнате, посреди которой стоял большой стол, а за ним, друг против друга, удобно расположились два джентльмена; один из них протирал носовым платком ствол охотничьего ружья, а другой намазывал варенье на хлеб с помощью ножа для разрезания бумаги.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель.

Оба джентльмена оглянулись на него, видимо удивленные подобной дерзостью.

– Поехал он, стало быть, поездом в имение к своему двоюродному брату, – обстоятельно и неторопливо возобновил прерванный рассказ джентльмен с ружейным стволом, – а собаку взял с собой. Золото, а не собака, доложу я вам. Когда ее сажали в собачий вагон, она укусила носильщика, а как стали выпускать, вцепилась в ляжку кондуктору. Ну вот, по приезде он, стало быть, собрал в сарай человек пять-шесть, напустил туда побольше крыс и устроил собаке

проверку. А уж когда убедился, что она их ловит, не успеешь глазом моргнуть, – назначил состязание и сам поставил на нее кучу денег. И представьте себе, сэр, перед самым состязанием какие-то негодяи подкупили сторожа, тот подпоил собаку, и хозяин ее остался без гроша.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель.

Джентльмен, намазывавший варенье, спросил, не поднимая глаз:

– А какую он дал собаке кличку?

– Кличка – «Красотка», – ответил рассказчик. – Он уверял, что собака как две капли воды похожа на старую тетку, от которой он ждал наследства. Особенно когда ее подпоили.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.

Оба джентльмена надолго закатились смехом. Потом тот, который начищал ружейный ствол, нашел, что блесит достаточно, спросил мнения своего визави и, удовлетворившись полученным ответом, убрал ствол в стоявший перед ним ящик; после чего достал из ящика ложе и, негромко насвистывая, принялся начищать его.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.

– В чем дело? – отозвался наконец мистер Уобблер, с набитым ртом.

– Я хотел бы узнать, – и Артур Кленнэм механически повторил снова, что он хотел узнать.

– Ничего об этом не знаю, – пробурчал мистер Уобблер, обращаясь, по-видимому, к своему завтраку. – Никогда не слыхал об этом. Не имею к этому никакого отношения. Попробуйте справиться у мистера Клайва, вторая комната налево по соседнему коридору.

– А не услышу ли я и от него тот же ответ?

– Весьма возможно. Ничего не могу вам сказать по этому поводу, – пробурчал мистер Уобблер.

Проситель повернулся и вышел из комнаты, но тут вдруг джентльмен с ружьем окликнул его:

– Эй! Мистер!

Проситель воротился назад.

– Затворяйте за собой дверь. Черт знает какой сквонзьяк устроили!

Потребовалось немного времени, чтобы дойти до второй комнаты слева по соседнему коридору. В комнате сидели три джентльмена: номер первый был занят тем, что ничего не делал, номер второй был занят тем, что ничего не делал, номер третий был занят тем, что ничего не делал. Но они, надо полагать, имели самое непосредственное касательство к плодотворному осуществлению великого принципа министерской деятельности: в глубине комнаты находилась массивная двойная дверь, за которой, видимо, заседал Совет Мудрейших министерства, ибо туда стремился нескончаемый поток входящих бумаг, а оттуда стремился нескончаемый поток исходящих, и всем этим ловко заправлял джентльмен номер четвертый.

– Я хотел бы узнать, – начал Артур Кленнэм и с монотонностью шарманки изложил свою надобность. Поскольку номер первый направил его к номеру второму, а номер второй направил его к номеру третьему, он имел случай изложить ее три раза. После чего он был направлен к номеру четвертому, коему изложил ее еще раз.

Номер четвертый был молодой человек приятной наружности, щеголеватый, бойкий и обходительный – тоже из рода Полипов, но из менее чопорной его ветви. Выслушав Кленнэма, он сказал почти весело:

– Ну что вам понапрасну время терять!

– Как понапрасну время терять?

– Да вот так. Я лично вам этого не советую.

Это была настолько новая и оригинальная точка зрения, что Артур Кленнэм даже опешил от неожиданности.

– Как хотите, конечно. Могу выдать вам бланки установленного образца. У нас их много. Заполните хоть целую дюжину. Но только ничего у вас не получится, – сказал номер четвертый.

– Неужели это настолько безнадежно? Вы меня извините: я почти чужестранец в Англии.

– Я не говорил, что это безнадежно, – возразил номер четвертый с ясной улыбкой. – Речь сейчас идет не об этом. Речь идет о вас. У вас, по моему мнению, ничего не получится. Но вы, разумеется, вольны поступать, как вам угодно. Ваш протеже, верно, не выполнил условий по какому-нибудь договору?

– Я, право, не знаю.

– Ну что ж, это вы можете выяснить. Затем вам нужно будет выяснить, в ведении какого департамента числится указанный договор, а там уж вам дадут все справки.

– Извините великодушно, но как же мне выяснить все то, о чем вы говорите?

– О, очень просто – ходить и спрашивать до тех пор, пока не получите ответа. Затем вы подадите прошение в тот департамент о том, чтобы вам разрешили подать прошение в этот департамент (предварительно вам придется выяснить, в какой форме оно должно быть составлено). Получив соответствующее разрешение (если вы его в конце концов получите), вы направите свое прошение в тот департамент, откуда оно будет переслано для регистрации в этот департамент, затем возвращено для подписи в тот департамент, затем снова передано для засвидетельствования в этот департамент и тогда уже официально принято к рассмотрению тем департаментом. Справки о прохождении дела в каждой из этих инстанций вы будете наводить в обоих департаментах тем же способом – ходить и спрашивать, пока не получите ответа.

– Но, помилуйте, ведь так же нельзя делать дела! – воскликнул, не удержавшись, Артур Кленнэм.

Сей бодрый молодой Полип очень развеселился мыслью, что есть простачки, воображающие, будто так можно делать дела. Сей шустрый молодой Полип превосходно знал, что так нельзя делать дела. Сей дошлый молодой Полип пристроился в министерство на секретарскую должность, надеясь пожить малым, пока не пришло время для большого, и отлично понимал, что министерство есть лишь хитроумное приспособление для того, чтобы разными политическими и дипломатическими уловками помогать жирным обороняться против тощих. Словом, сей прыткий молодой Полип обещал в недалеком будущем сделаться государственным мужем и преуспеть на этом поприще.

– Когда ваше дело будет официально принято к рассмотрению тем департаментом, – продолжал сей блистательный молодой Полип, – вам надлежит время от времени наводить о нем справки в том департаменте. Затем, когда оно будет официально передано на рассмотрение в этот департамент, вы должны будете время от времени наводить о нем справки в этом департаменте. Мы станем пересылать его для согласования туда и сюда, и вам придется запрашивать о нем там и здесь. Когда оно снова попадет к нам, вам придется запрашивать о нем у нас. Если оно вдруг застрянет где-нибудь, вам придется проталкивать его. Если вы напишете о нем в этот департамент или в какой-нибудь другой и не получите удовлетворительного ответа, вам останется только одно – писать еще.

Артур Кленнэм видимо колебался.

– Как бы то ни было, – сказал он, – я должен поблагодарить вас за вашу любезность.

– Не стоит благодарности, – возразил сей обворожительный молодой Полип. – Вы все-таки попробуйте, может быть, вам понравится это занятие. А если не понравится, в вашей воле прекратить его в любую минуту. Право, захватили бы десяток-другой бланков на всякий случай. Выдайте джентльмену стопку бланков! – Отдав это распоряжение номеру второму, сей жизнерадостный молодой Полип принял очередной ворох бумаг из рук номера первого и номера третьего и поспешил с ними в капище, чтобы возложить их на алтарь верховных идолов Министерства Волокиты.

Артур Кленнэм хмуро сунул бланки в карман и побрел по длинному каменному коридору и длинной каменной лестнице к выходу. У самой двери какие-то двое, оказавшись впереди, загрохотали ему дорогу, и он остановился, нетерпеливо дожидаясь, когда они пройдут. Вдруг он

услышал голос, который ему показался знакомым; он взглянул на говорившего и узнал мистера Миглза. Мистер Миглз, весь красный – едва ли он приобрел такой цвет лица в путешествии, – тащил за шиворот коренастого человека вполне безобидной наружности, приговаривая при этом: «Идем, идем, мошенник!» Наконец он яростным толчком распахнул дверь и чуть ли не вывалился на улицу вместе с коренастым, которого по-прежнему держал за шиворот.

При виде столь необычного зрелища Артур так и застыл на месте и только обменивался удивленными взглядами со швейцаром. Впрочем, он тут же пришел в себя, выбежал на улицу и увидел мистера Миглза, мирно удалявшегося бок о бок со своим недругом. Быстро нагнав их, Артур тронул мистера Миглза за плечо. Тот сердито обернулся, но, узнав недавнего дорожного спутника, сразу просиял.

– Здравствуйте, здравствуйте, – говорил мистер Миглз, с чувством пожимая ему руку. – Как поживаете? А я только что снова вернулся из-за границы. Душевно рад вас видеть!

– А я счастлив видеть вас.

– Ну спасибо на добром слове.

– Миссис Миглз и ваша дочь...

– Здоровы и благополучны, – сказал мистер Миглз. – Только лучше бы нам повстречаться позже, когда я немножечко остыну.

Хотя день был далеко не жаркий, мистер Миглз находился в столь разгоряченном состоянии, что даже привлекал к себе взгляды прохожих, особенно когда прислонился к железной решетке, снял шляпу, развязал галстук и в полном пренебрежении к общественному мнению принялся вытирать распаренное лицо и лысину, красные уши и красную шею.

– Уфф! – сказал он, снова приведя в порядок свой туалет. – Ну вот, теперь я поостыл и мне легче.

– Вы чем-то раздражены, мистер Миглз. Что случилось?

– А вот погодите, я вам расскажу. Есть у вас немного свободного времени?

– Сколько угодно.

– Так давайте пройдемся по парку. Да, да, смотрите на него, смотрите! – Мистер Миглз перехватил взгляд, брошенный Артуром на преступника, которого он так гневно тащил за шиворот несколько минут тому назад. – На него стоит посмотреть.

Но ничего примечательного нельзя было усмотреть в этом человеке, ни ростом, ни одеждой не выделявшемся из толпы. Он был невысок и коренаст, с деловитой повадкой, волосы его были сильно тронуты сединой, а на лбу и щеках раздумье проложило глубокие складки, словно резанные по твердому дереву. На нем было приличное черное платье, чуть порыжевшее на швах, и по всему виду его можно было принять за умельца-мастерового. Слушая аттестацию, которую ему давал мистер Миглз, он все время вертел в руках футляр от очков, делая это с тем особым движением большого пальца, которое свойственно лишь руке, привыкшей держать инструмент.

– И вы тоже ступайте с нами, – сказал мистер Миглз грозно. – Я вас сейчас представлю. Ну, марш!

Всю дорогу, пока они шли к парку, Кленнэм пытался угадать, чем мог провиниться этот неизвестный, так кротко повиновавшийся мистеру Миглзу. Глядя на него, трудно было заподозрить, что он уличен в покушении на носовой платок мистера Миглза; на скандалиста или хулигана он тоже не походил. Он казался спокойным, тихим, уравновешенным человеком, не пытался сбежать, и хоть явно был чем-то огорчен, никаких признаков стыда или раскаяния не обнаруживал. Если он и в самом деле совершил преступление, значит, он – непревзойденный притворщик; если он преступления не совершал, почему мистер Миглз тащил его за шиворот из Министерства Волокиты? Артур успел подметить, что человек этот занимает не только его мысли, но и мысли мистера Миглза тоже. На коротком пути от министерства до парка разго-

вор у них явно не клеился, и о чем бы ни заводил речь мистер Миглз, взгляд его постоянно возвращался к их спутнику.

Наконец, когда они уже очутились среди зелени, мистер Миглз остановился и сказал:

– Мистер Кленнэм, сделайте мне одолжение, посмотрите хорошенько на этого человека. Его зовут Дойс, Дэниел Дойс. Вы, верно, не подумали бы, что этот человек – отъявленный мошенник?

– Разумеется, нет.

Было очень неловко отвечать на такой вопрос в присутствии того, кого он касался.

– Ага! Разумеется, нет. Я так и предполагал. И вы, верно, не подумали бы, что он – преступник?

– Нет.

– Ах, нет? Вот и напрасно. Перед вами самый настоящий преступник. В чем же его преступление? Кто он – убийца, поджигатель, вор, взломщик, грабитель с большой дороги, поддельватель подписей, плут, вымогатель? Как вам кажется?

– Мне кажется, – возразил Артур Кленнэм, уловив тень улыбки на лице Дэниела Дойса, – что ни одно из этих обозначений к нему не подходит.

– Да, тут вы правы, – сказал мистер Миглз. – Но природа наделила его изобретательским даром, и он вздумал употребить этот дар на благо общества. А это, несомненно, тяжкое преступление, сэр.

Артур снова взглянул на Дойса, но тот лишь покачал головой.

– Дойс – слесарь и механик, – продолжал мистер Миглз. – Крупными делами он не занимается, однако как изобретатель весьма известен. Лет двенадцать тому назад он успешно закончил одно изобретение, которое может иметь большое значение для Англии и для человечества. Уж не буду говорить, сколько денег ему это стоило и сколько лет он трудился над своим изобретением, но закончил он его лет двенадцать тому назад. Верно я говорю? – спросил мистер Миглз у Дойса. – Знайте, это самый несносный человек на свете: он никогда не жалуется!

– Да, двенадцать. Или лучше сказать, двенадцать с половиной.

– Лучше сказать! – подхватил мистер Миглз. – По-моему, это не лучше, а еще хуже. Так слушайте же, мистер Кленнэм. Кончив свое дело, он обратился с ним к правительству. И с той минуты, как он обратился к правительству, он стал преступником! Да, сэр! – вскричал мистер Миглз, рискуя снова разгорячиться сверх меры. – Он уже не добропорядочный гражданин своей страны, он – преступник. С ним обходятся как с человеком, совершившим злодеяние. Его можно шпынять, третировать, изводить оттяжками и проволочками, без конца гонять от одного молокососа или старца благородного происхождения к другому молокососу или старцу благородного происхождения; он не имеет права распоряжаться ни своим временем, ни своим достоянием; он – изгой, от которого позволительно отделяться любыми средствами.

После перипетий нынешнего утра Кленнэму совсем не трудно было в это поверить.

– Дойс, да оставьте вы в покое свой футляр для очков, – воскликнул мистер Миглз. – Лучше скажите мистеру Кленнэму то, в чем вы признавались мне.

– Да мне в конце концов и самому стало казаться, что я повинен в каком-то злодеянии, – сказал изобретатель. – Ведь всюду, куда бы я ни толкнулся, меня встречали как злодея. И я не раз должен был напоминать себе, что не совершил ничего такого, за что мое имя следовало бы поместить в Ньюгетский Альманах, а лишь заботился о всеобщей пользе и экономии средств.

– Вот вам, пожалуйста! – сказал мистер Миглз. – Судите сами, преувеличил ли я. Теперь вы не будете сомневаться в истине того, что мне еще осталось вам рассказать.

Сделав это замечание, мистер Миглз вновь обратился к истории Дойса. То была старая история, обычная история, всем хорошо известная и всем уже успевшая надоеть. О том, как после бесконечной канцелярской возни и переписки, после бесчисленных оскорблений, грубо-

стей и глупостей высокочтимые лорды издали постановление за номером три тысячи четыреста семьдесят два, коим преступнику дозволялось произвести некоторые испытания своего изобретения за собственный счет. Как означенные испытания были произведены в присутствии комиссии из шести членов, из которых двое были подслеповаты и ничего не разглядели, двое глуховаты и ничего не расслышали, пятый хромал на обе ноги и не мог подойти близко, а шестой был набитый дурак и ничего не понял. Как шли годы и продолжались оскорбления, грубости и глупости. Как, наконец, высокочтимые лорды издали постановление за номером пять тысяч сто три, по которому все дело передавалось в ведение Министерства Волокиты. Как Министерство Волокиты, по истечении некоторого срока, взялось за это дело так, словно оно возникло только вчера и никому ничего о нем не известно; и как оно тут же принялось его темнить, усложнять и запутывать. Как оскорбления, грубости и глупости стали множиться по таблице умножения. Как изобретение было послано на заключение трем Полипам и одному Чваннингу, которые ровно ничего в нем не разобрали, ровно ничего не способны были в нем разобрать и, не желая обременять свои мозги размышлениями о нем, доложили по начальству, что осуществить его невозможно. Как Министерство Волокиты в постановлении за номером восемь тысяч семьсот сорок объявило, что «не видит оснований к пересмотру решения, вынесенного высокочтимыми лордами». Как потом оказалось, что высокочтимые лорды никакого решения не выносили, и тогда Министерство Волокиты положило дело под сукно. Как, наконец, сегодня утром состоялся решительный разговор с главой Министерства Волокиты и как эта Медная Башка изрекла, что, в общем и целом, принимая во внимание все обстоятельства и учитывая различные точки зрения, приходится констатировать, что тут возможны два решения – либо покончить с этим делом и никогда больше к нему не возвращаться, либо начать его вновь с самого начала.

– А тогда, – продолжал мистер Миглз, – я, как человек практический, тут же ухватил Дойса за шиворот и объявил, что таким, как он, бессовестным наглецам и нарушителям общественного спокойствия, здесь делать нечего; да так и выволок его за шиворот из министерства; чтобы даже швейцару ясно было, что я человек практический и разделяю официальную точку зрения на подобных субъектов. Вот вам и все!

Случись здесь давешний шустрый молодой Полип, он, пожалуй, откровенно объяснил бы им, что Министерство Волокиты поступило так, как ему и надлежит поступать. Дело полипов – присасываться к государственному кораблю и держаться за него как можно крепче. Чтобы навести на корабле чистоту и порядок и облегчить его ход, надо было бы прежде всего оторвать от него полипов; но оторвать их раз и навсегда не так-то легко; а если корабль, облепленный полипами, пойдет ко дну, так это уж его забота, а не их.

– Ну вот, – сказал мистер Миглз. – Теперь вам все известно о Дойсе. Могу только прибавить, как это для меня ни огорчительно, что даже сейчас вы едва ли услышите от него хоть слово жалобы.

– У вас, как видно, большой запас терпения, – заметил Кленнэм, не без любопытства глядя на Дойса, – терпения и кротости.

– Отнюдь нет, – отвечал изобретатель. – Не больше, чем у всякого другого.

– Черт возьми, во всяком случае, больше, чем у меня! – вскричал мистер Миглз.

Дойс усмехнулся и сказал Кленнэму:

– Видите ли, для меня во всем этом нет ничего нового. В жизни то и дело приходится сталкиваться с подобными вещами. Моя участь – не исключение. Со мной обошлись не хуже, чем со многими другими при подобных обстоятельствах, – верней сказать, не хуже, чем со всеми другими.

– Откровенно говоря, не думаю, что на вашем месте я находил бы в этом утешение; но если вы находите – рад за вас.

– Поймите меня правильно, – возразил Дойс все тем же ровным, сдержанным тоном, устремив взгляд в пространство, словно для того, чтобы измерить его глубину. – Я вовсе не хочу сказать, что таков законный итог всех человеческих трудов и надежд; но как-то легче от того, что это не явилось неожиданностью.

Он говорил вполголоса, неторопливо и обдуманно, как часто говорят люди, имеющие дело с машинами и привыкшие все точно рассчитывать и измерять. Эта манера разговора была так же присуща ему, как гибкость большого пальца или привычка то и дело сдвигать на затылок шляпу, словно рассматривая какое-то недоконченное творение своих рук и размышляя над его завершением.

– Обидно? – продолжал он, шагая по тенистой аллее между мистером Миглзом и Артуром Кленнэмом. – Да, разумеется, мне обидно. Горько? Да, разумеется, и горько тоже. Иначе и быть не могло. Но когда я говорю, что и с другими в таких случаях обходятся не лучше...

– В Англии, – вставил мистер Миглз.

– Ну, конечно же, речь идет об Англии. Когда предлагаешь свое изобретение чужой стране, все складывается совсем по-другому. Оттого-то так много изобретателей уезжает за границу.

Мистер Миглз тем временем снова раскалился.

– Я хочу сказать вот что: не знаю почему, но так уж заведено у нашего правительства. Слыхали вы, чтобы автор какого-нибудь проекта или изобретения, обратясь в правительство, не натолкнулся бы на неприступную стену, чтобы ему не чинили препятствий и затруднений?

– Пожалуй, не слышал.

– А видели вы, чтобы правительство помогло какому-нибудь полезному делу, сделало бы почин в каком-нибудь полезном предприятии?

– На этот вопрос я отвечаю, – вмешался мистер Миглз. – Я дольше прожил на свете, чем мой друг, и могу вам сказать: никогда!

– Но зато каждый из нас, – продолжал изобретатель, – не раз мог убедиться, сколь оно усердно в своих стараниях как можно дольше и как можно больше отставать от жизни и с каким упорством защищает то, что давно уже устарело и давно уже вытеснено из обихода новым и более совершенным.

Тут все трое оказались единодушны.

– А поэтому, – со вздохом заключил Дойс, – так же, как я наперед знаю, что произойдет с таким-то металлом при такой-то температуре и с таким-то веществом при таком-то давлении, я мог бы предвидеть, как поступят все эти высокочтимые лорды и джентльмены в случае, подобном моему. Имея память и соображение, вправе ли я удивляться тому, что судьба всех моих предшественников постигла и меня? Не надо бы мне вовсе начинать это дело. Предостережений было достаточно.

Он спрятал свой футляр в карман и добавил, обращаясь к Артуру:

– Но если я не умею жаловаться, мистер Кленнэм, я зато умею быть благодарным, и поверьте, я до глубины души благодарен нашему общему другу. Сколько раз, не щадя ни времени, ни средств, он оказывал мне поддержку!

– Вздор и чепуха! – объявил мистер Миглз.

Последовала пауза, и Артур воспользовался ею, чтобы повнимательней приглядеться к Дэниелу Дойсу. Хотя этот человек слишком уважал себя и свое дело, чтобы роптать на неудачу, да и не в натуре его было плакаться по-пустому, нетрудно было заметить, что долгие годы испытаний стоили ему немало сил, здоровья и средств. Невольно Артуру пришла в голову мысль: какое счастье было бы для Дойса, если б он сумел взять за образец тех господ, которые милостиво приняли на себя труд управления страной, и перенял бы у них искусство не делать того, что нужно.

Минут пять мистер Миглз обливался пóтом и пребывал в унынии, затем понемногу остыл и воспрянул духом.

– Ладно, чего там! – сказал он. – Не будем вешать нос, этим делу не поможешь. Вы сейчас куда, Дэн?

– К себе на завод.

– Ну и мы с вами, – во всяком случае, мы вас проводим, – весело отозвался мистер Миглз. – Мистера Кленнэма не смутит, что это – в Подворье Кровоточащего Сердца.

– В Подворье Кровоточащего Сердца? – повторил Кленнэм. – А мне как раз туда нужно.

– Тем лучше! – воскликнул мистер Миглз. – В путь!

Когда они выходили из парка, то один из троих (а быть может, не только один) подумал о том, что Подворье Кровоточащего Сердца – самое подходящее место для человека, испытавшего на себе прелести официального общения с лордами и с Полипами; и, быть может, в душе у него шевельнулось опасение: не пришлось бы в один злосчастный день самой Англии искать приюта в Подворье Кровоточащего Сердца, если она даст слишком много воли Министерству Волокиты.

Глава XI

Выпустили на волю!

Ненастная, хмурая осенняя ночь спускалась над рекой Соной. Как в тусклом зеркале, отражались в реке клубящиеся облака, и невысокий берег кое-где нависал над водой, будто с опаской и с любопытством вглядывался в свое смутное изображение. Шалонская равнина протянулась длинной прямой полосой, лишь слегка зазубренной с краю там, где на грозном пурпуре заката чернели силуэты тополей. Сыро, тоскливо, мрачно было на берегах реки Соны; а ночь надвигалась быстро.

Единственной человеческой фигурой среди этого пустынного ландшафта был путник, медленно бредущий к Шалону. Каин, одинокий и отверженный людьми, походил, должно быть, на этого человека. Лохматый, обросший, с ветхой котомкой за плечами, с узловатым посохом, вырезанным где-нибудь по дороге, в намокшей одежде, в жалких опорах, едва державшихся на грязных, до крови сбитых ногах, тащился он, прихрамывая от боли и усталости, и казалось, это от него убегают облака в небе, о нем гневно воеет ветер и шепчется потревоженная трава, на него жалуются речные волны, с тихим плеском омывая берег, он – причина зловещего непокоя этой осенней ночи.

Угрюмо, исподлобья поглядывал он то в одну сторону, то в другую; порой останавливался и озирался кругом; потом плелся дальше, морщась от боли и приговаривая:

– Черт бы взял эту равнину, которой нет конца! Черт бы взял эти камни, острые, как ножи! Черт бы взял этот мрак и холод, пробирающий человека до костей! Ненавижу вас!

И если бы ненависть могла жечь, его злобный взгляд испепелил бы все вокруг. Он проковылял еще несколько шагов и снова остановился, всматриваясь в даль.

– Я измучен, я голоден, я умираю от жажды! А вы, олухи, сидите в теплых, светлых домах, едите, пьете, греетесь у огня! Эх, привелось бы мне повластвовать в вашем городе! Уж вы бы у меня поплясали, голубчики!

Но сколько ни грозил он кулаком, сколько ни скрежетал зубами со злости, расстояние до города этим не уменьшалось, и когда он ступил, наконец, на булыжник шалонской мостовой, он совсем изнемогал от голода, жажды и усталости.

Из распахнутой двери гостиницы вкусно пахло стряпней; в кофейне с ярко освещенными окнами слышался стук домино; на крыльце у красильщика висели полосы красного сукна, служившие вывеской; в окне золотых дел мастера красовались кольца, серьги и украшения для алтаря; у табачной лавки веселой гурьбой толпились солдаты с трубками в зубах; в воздухе тянуло зловонием города, шел дождь, и по сточным канавам плыли отбросы; тускло светили фонари, подвешенные над мостовой, готовился к отправлению дилижанс с горой клади на крыше, запряженный шестеркой буланых с подвязанными хвостами. Но нигде не было видно кабачка, в котором мог бы отдохнуть небогатый путник; и в поисках такого пристанища ему пришлось свернуть в темный переулок, где грудами валялся капустный лист, истоптанный ногами женщин, приходивших брать воду из колодца. Здесь, в глубине переулочка, виднелась вывеска: «Утренняя Заря». Плотные занавеси на окнах скрывали свет этой утренней зари, но от нее веяло теплом и уютом, а на вывеске, украшенной для наглядности изображением кия и бильярдного шара, было четко обозначено, что в «Утренней Заре» можно сыграть партию на бильярде, что любой путешественник, конный или пеший, найдет там ужин и ночлег; а также, что имеется отличный выбор вин, коньяков и прочих напитков. Прочтя это, наш путник повернул ручку двери и вошел.

Приподняв свою выцветшую, с обвисшими полями шляпу, он приветствовал посетителей, находившихся в комнате. Их было немного: двое играли за маленьким столиком в домино; еще трое или четверо расположились у огня и мирно беседовали, попыхивая труб-

ками. Бильярд занимал середину комнаты, но желающих играть сейчас, как видно, не нашлось. За невысокой стойкой, уставленной бутылками с различными сиропами и корзиночками с печеньем, у оловянной мойки для стаканов сидела с шитьем в руках хозяйка «Утренней Зари».

Вновь пришедший направился к свободному столику в углу за печкой, скинул котомку с плеч и положил ее на пол вместе с плащом. Выпрямившись, он поднял голову и увидел перед собой хозяйку.

– Я хотел бы заночевать у вас, сударыня.

– Милости просим! – приветливо сказала хозяйка высоким, певучим голосом.

– Отлично. А прежде всего я хотел бы пообедать – или поужинать, называйте как хотите.

– Милости просим! – повторила хозяйка.

– Так распорядитесь насчет ужина, сударыня. Что-нибудь поесть и вина, только как можно скорее. Я падаю от усталости.

– Погода очень скверная, сударь, – заметила хозяйка.

– Будь проклята эта погода!

– И дорога, видно, была у вас нелегкая.

– Будь проклята эта дорога.

Его хриплый голос сорвался, он опустил голову на руки и сидел так, пока ему не принесли вина. Он сразу выпил подряд два стаканчика, потом отломил горбушку от карава, который поставили перед ним на покрытый скатертью стол вместе с тарелкой, солонкой, перечницей и бутылочкой масла, прислонился головой к стене, вытянул ноги и стал жевать хлеб в ожидании ужина.

С приходом нового гостя разговор у печки оборвался, и внимание собеседников отвлеклось в сторону, как бывает всегда, когда в дружной компании вдруг появится чужой. Но замешательство скоро прошло, на незнакомца перестали оглядываться, и беседа возобновилась.

– Вот потому и говорят, – сказал один из собеседников, доканчивая прерванный рассказ, – потому и говорят, что там выпустили на волю дьявола.

Рассказчик, рослый швейцарец, был членом церковного совета и высказывал свои суждения с авторитетностью духовной особы – тем более что речь шла о дьяволе.

Хозяйка отдала необходимые распоряжения своему мужу, исправлявшему в «Утренней Заре» обязанности повара, и, вернувшись на место, снова принялась за шитье. Это была бойкая, смышленная маленькая толстушка в чепце необыкновенной величины и в чулках необыкновенной расцветки; она то и дело вступала в разговор, оживленно кивая головой, но не поднимая глаз от работы.

– Ах ты боже мой! – сказала она. – Когда с лионским пароходом пришло известие, что в Марселе выпустили на волю дьявола, нашлись простофили, которые только ушами хлопали. Но я не из таких! Нет, нет!

– Сударыня, вы всегда правы, – подхватил высокий швейцарец. – Видно, этот человек вас сильно прогневал, сударыня?

– Еще бы! – вскричала хозяйка; на этот раз она оторвалась от своего шитья и, откинув голову набок, широко раскрытыми глазами уставилась на говорившего. – Ничего нет удивительного.

– Это дурной человек.

– Это гнусный негодяй, – сказала хозяйка, – и очень жаль, что ему посчастливилось избежать участи, которая его ожидала. Он ее вполне заслуживал.

– Постойте, сударыня! Давайте разберемся, – возразил швейцарец, глубокомысленно жуя кончик сигары. – Может быть, во всем виновата злая судьба этого человека. Может быть, он сделался жертвой обстоятельств. Весьма вероятно, что в нем заложены добрые основы, и мы просто не умеем их обнаружить. Философическая филантропия учит...

Это устрашающее выражение было встречено в кружке у печки ропотом недовольства. Даже игроки в домино подняли головы, словно протестуя против того, чтобы философическая филантропия хотя бы на словах внедрялась в «Утреннюю Зарю».

– А, да ну вас с вашей филантропией, – вскричала бойкая хозяйка и с удвоенной энергией закивала головой. – Лучше послушайте меня. Я всего только женщина. И ничего я знать не знаю о вашей философической филантропии. Но я кой-чего повидала на своем веку, и то, что мне пришлось видеть собственными глазами, я знаю хорошо. И позвольте сказать вам, друг мой, есть на свете люди (не только мужчины, но и женщины, к сожалению), в которых никаких добрых основ нет. Есть люди, которые ничего, кроме гнева и ненависти, не заслуживают. Есть люди, с которыми нужно поступать как с врагами рода человеческого. Есть люди, у которых нет сердца, и потому их нужно истреблять, как диких зверей, чтобы не мешали жить другим. Таких людей, я надеюсь, не много, но они есть, и я сама на своем веку встречала их, даже здесь, в нашей маленькой «Утренней Заре». И я твердо знаю: этот человек – как бишь его, я забыла имя, – он тоже из их числа.

Горячая речь хозяйки была принята в «Утренней Заре» с полным сочувствием; а между тем где-нибудь поближе к Англии у людей, вызвавших ее неразумный гнев, нашлось бы немало сердобольных защитников, которым эта речь понравилась бы несравненно меньше.

– И знаете что? – продолжала хозяйка, отложив работу и встав, чтобы взять тарелку с супом из рук мужа, показавшегося на пороге кухни, – если ваша философическая филантропия готова отдать нас на милость подобных людей, потворствуя им на словах или на деле, не нужна она нам тут, потому что грош ей цена.

В то время как она ставила тарелку перед успевшим уже переменить позу гостем, он пристально взглянул ей в лицо, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Ну, хорошо, – сказал швейцарец, – оставим это и вернемся к нашему разговору. Так вот, господа, когда этому человеку был вынесен оправдательный приговор, в Марселе и стали говорить, что дьявола выпустили на волю. Вот откуда пошло это выражение, и ничего другого оно не означает.

– Как же его фамилия? – спросила хозяйка. – Биро, что ли?

– Риго, сударыня, – поправил ее высокий швейцарец.

– Вот, вот! Риго.

За супом последовало мясное блюдо, а потом овощи. Путник съел все, что было подано на стол, допил вино из бутылки и спросил еще стакан рому; а когда принесли кофе, закурил папиросу. Подкрепив свои силы, он приосанился и начал вставлять замечания в общую беседу, причем делал это с покровительственным видом, словно был куда более важной особой, чем казался.

То ли посетители кабачка вспомнили, что их ждут другие дела, то ли почувствовали себя недостойными столь высокого общества – но в короткое время все они разошлись, и так как никто не явился на смену, «Утренняя Заря» осталась в полном распоряжении своего новоявленного покровителя. Хозяин гремел посудой на кухне, хозяйка мирно занималась шитьем, а путник курил в одиночестве, протянув к огню израненные ноги.

– Скажите, пожалуйста, сударыня, этот Биро...

– Риго, сударь.

– Да, простите, Риго. Любопытно узнать, чем он навлек на себя ваше недовольство?

Тут опять его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу, и хозяйка, которая все никак не могла решить, красавец он или урод, сразу склонилась к последнему мнению. Этот злодей, Риго, убил свою жену, пояснила она.

– Неужели? Громы и молнии, вот уж истинно злодей! Но откуда вам это известно?

– Это всем известно, сударь.

– О! И тем не менее он избежал законной кары?

– Суд не нашел достаточно улик, чтобы доказать его преступление. Так было сказано на суде. Но все равно, люди знают, что он убийца. Люди настолько уверены в этом, что едва не растерзали его на части.

– Ну еще бы, ведь все эти люди так дружно живут со своими женами! – сказал посетитель. – Ха-ха!

Хозяйка «Утренней Зари» взглянула на него и почти утвердилась в своем мнении. Однако руки у него были красивы, и он умел сделать так, чтобы это бросалось в глаза. Все-таки уродливым его, пожалуй, не назовешь, подумала она.

– И что же случилось с этим Риго потом, сударыня? Кажется, вы или кто-то из ваших собеседников упоминали о его судьбе?

Хозяйка покачала головой – впервые за все это время; до сих пор она только выразительно кивала ему в такт своим словам. В газетах, говорят, писали, будто его пришлось снова запереть в тюрьму, ради его собственной безопасности, сказала она. Но как бы там ни было, он не получил по заслугам, и это очень жаль.

Гость пристально смотрел на нее, докуривая свою последнюю папиросу, и если бы она видела его лицо в эту минуту, все ее сомнения относительно его внешности были бы разрешены. Но она сидела, склонившись над работой, а когда наконец подняла голову, лицо это было уже совсем другим. Белая рука приглаживала топорщившиеся усы.

– Соболаговолите указать мне мою комнату, сударыня.

– Сию минуту, сударь. Эй, муженек!

Сейчас муженек проводит его наверх. Там уже спит один путешественник, он очень устал и залег спозаранку; но комната большая, в ней две кровати, а места хватило бы и для двадцати. Все это хозяйка «Утренней Зари» прощепетала вперемежку с возгласами «Эй, муженек!», обращенными к кухонной двери.

Наконец в ответ послышалось: «Иду, женушка!»; путник захватил свой плащ и котомку, пожелал хозяйке покойной ночи, изъявив удовольствие по поводу того, что завтра снова увидится с нею, и муженек, вынырнувший из кухни в поварском колпаке и со свечой в руках, повел его по крутой и узкой лестнице наверх. Комната, предназначенная для ночлега гостей, и в самом деле была велика, с неструганым дощатым полом и неоштукатуренным потолком. По сторонам стояли две кровати. Муженек поставил свечу на стол, искоса оглядел гостя, наклонившегося над своей котомкой, и, буркнув: «Ваша – направо!» – удалился. Хорошим ли, плохим ли физиономистом был хозяин, но только физиономия гостя ему явно не понравилась.

Гость презрительно поморщился при виде чистых, но грубого холста простынь на постели, сел на плетеный стул рядом и, вытащив из кармана все свои деньги, принялся пересчитывать их на ладони.

– Без еды обойтись нельзя, – пробормотал он, кончив это занятие, – но, черт побери, нужно, чтобы с завтрашнего дня за мою еду платили другие!

Так он сидел в раздумье, машинально взвешивая деньги на ладони, но вот наконец мерное всхрапывание соседа, занимавшего вторую кровать, привлекло его внимание и заставило его оглянуться. Спящий завернулся в одеяло и опустил полог у изголовья, так что его можно было только слышать, но не видеть. Но это мерное глубокое всхрапывание все время напоминало о нем новому гостю, покуда тот сбрасывал свои стоптанные башмаки, снимал сюртук и развязывал галстук, и в конце концов любопытство его было настолько возбуждено, что ему захотелось взглянуть на соседа.

Он подкрался поближе, потом еще поближе и еще поближе и, наконец, очутился у самой кровати. Но лица спящего он все же не мог разглядеть, мешало одеяло, натянутое на голову. Спящий храпел все так же мерно; тогда бодрствующий протянул руку (эта гладкая, белая рука! каким предательским движением скользнула она к изголовью) и тихонько приподнял одеяло.

– Громы и молнии! – прошептал он, попятившись. – Кавалетто!

Должно быть, маленький итальянец смутно почувствовал сквозь сон, что кто-то стоит у кровати; он перестал храпеть, шумно перевел дыхание и открыл глаза. Но он еще спал, хоть и с открытыми глазами. Несколько секунд он бессмысленно смотрел на своего бывшего товарища по заключению, потом вдруг с криком испуга и удивления вскочил с кровати.

– Тсс! Тише! Это я! Ты что, не узнал меня? – зашипел на него ночной гость.

Но Жан-Батист, испуганно тараща глаза и бормоча какие-то заклинания и восклицания, забился в угол за кроватью, дрожащими руками натянул панталоны, накинул куртку и завязал рукава под подбородком, а затем попытался шмыгнуть в дверь, не обнаруживая ни малейшего желания возобновлять знакомство. Однако бывший товарищ по заключению предупредил его, загородив собою дверь.

– Кавалетто! Проснись, друг! Протри глаза и посмотри хорошенько! Ведь это же я – только не зови меня так, как раньше звал, – мое имя теперь Ланье, слышишь, Ланье!

Жан-Батист, у которого глаза уже выкатились чуть не на лоб, судорожно мотал в воздухе указательным пальцем правой руки, точно наперед отрицая все, что этот старый знакомец еще когда-нибудь мог сказать ему в своей жизни.

– Давай руку, Кавалетто. Ведь ты же знаешь джентльмена Ланье? Вот рука джентльмена, пожми ее.

Ноги у Жан-Батиста все еще подгибались от страха, но, услышав знакомый снисходительно-властный голос, он покорно шагнул вперед и протянул руку. Господин Ланье захохотал, сжал его руку, сильно тряхнул и отпустил.

– Так, значит, вас не... – пролепетал Жан-Батист.

– Не обрили? Нет. Вот, посмотри! – воскликнул Ланье и сильно дернул головой. – Сидит так же крепко, как твоя.

Жан-Батист слегка задрожал и стал озираться по сторонам, словно стараясь вспомнить, где он находится. Его покровитель воспользовался этим, чтобы запереть дверь на ключ, после чего вернулся к своей кровати и сел на нее.

– Взгляни! – сказал он, показывая на свои рваные башмаки. – Пожалуй, не слишком подходящая одежда для джентльмена. Но нужды нет; увидишь, как скоро я все это заменю новым. Садись, что стоишь? Займи свое место!

Жан-Батист все с тем же испуганным видом уселся на пол, подле кровати, не сводя глаз со своего покровителя.

– Вот и чудесно! – вскричал Ланье. – Как будто мы в своем распроклятом старом логове. Давно тебя выпустили оттуда?

– Через два дня после вас, патрон.

– А как ты попал сюда?

– Мне было сказано, чтобы я не оставался в Марселе, вот я и пустился куда глаза глядят. Перебивался как придется; побывал в Авиньоне, в Пон-Эспри, в Лионе, на Роне, на Соне. – Его загорелая рука быстро чертила весь этот путь на досках пола.

– А теперь куда направляешься?

– Куда я направляюсь, патрон?

– Да.

Жан-Батисту явно хотелось уклониться от ответа, но он не знал, как это сделать.

– Клянусь Бахусом! – вымолвил он наконец, словно через силу. – Я думал податься в Париж или, может быть, в Англию.

– Кавалетто! Я тоже – между нами говоря – направляюсь в Париж, может быть, в Англию. Будем путешествовать вместе.

Маленький итальянец кивнул головой и изобразил на лице улыбку, однако видно было, что его не столь уж обрадовала эта перспектива.

– Будем путешествовать вместе, – повторил Ланье. – Увидишь, я скоро заставлю всех кругом признавать во мне джентльмена, и тебе тоже будет от этого польза. Значит, уговорились? Отныне действуем заодно?

– Да, да, конечно, – отозвался маленький итальянец.

– В таком случае, прежде чем улечься спать, я расскажу тебе – в двух словах, потому что мне очень хочется спать, – как я очутился здесь – я, Ланье. Запомни – Ланье.

– Altro, altro! Не Ри... – докончить слова Жан-Батист не успел: собеседник схватил его за подбородок и свирепо сомкнул ему челюсти.

– Проклятье! Что ты делаешь? Хочешь, чтобы меня избили и забросали камнями? Хочешь, чтобы тебя самого избили и забросали камнями? Тебе этого не миновать. Или ты воображаешь, что они набросятся на меня, а моего тюремного друга и не тронут? Как бы не так!

Сказав это, он отпустил подбородок друга, но по выражению его лица тот понял, что уж если дойдет до камней и побоев, то господин Ланье позаботится, чтобы дружок получил свою долю сполна. Ведь господин Ланье – джентльмен-космополит и особой щепетильностью не отличается.

– Я – человек, которому общество нанесло незаслуженную обиду, – сказал господин Ланье. – Тебе известно, что я самолюбив и отважен, и, кроме того, у меня природная потребность властвовать. А как отнеслось общество к этим моим свойствам? Меня с улюлюканьем гнали по улицам. Пришлось приставить ко мне стражу для защиты от разъяренной толпы, в особенности от женщин, которые нападали на меня, вооружившись чем попало. Безнаказанности ради я должен был прятаться в тюрьме, причем так, чтобы об этом никто не знал, иначе меня вытащили бы оттуда и растерзали на части. Меня вывезли из Марселя глубокой ночью, на дне воза с соломой, и ссадили, только когда мы отъехали от города на много лье. Карман мой был почти пуст, но заходить домой было слишком опасно, и пришлось мне брести пешком, в грязь и непогоду – посмотри, что случилось с моими ногами! Вот на какие унижения обрекло меня общество – меня, человека, наделенного уже известными тебе качествами. Но общество мне за это заплатит.

Всю эту тираду он произнес своему слушателю на ухо, прикрыв рот рукой.

– И даже здесь, – продолжал он так же, – даже в этом жалком кабаке общество меня преследует. Хозяйка говорит обо мне всякие гадости, посетители на меня клеветают, а я все это слушаю. Я, джентльмен, перед талантами и совершенствами которого они должны были бы преклоняться! Но все обиды, нанесенные мне обществом, хранятся в этой груди!

Жан-Батист со вниманием слушал хриплый, сдавленный голос, лившийся ему в ухо, и время от времени поддакивал, кивая головой и закрывая глаза, словно потрясенный столь ярким примером несправедливости общества.

– Поставь мои башмаки под кровать, – сказал Ланье. – Повесь мой плащ у двери, чтобы он просох к утру. Убери мою шляпу. – Все его приказания исполнялись беспрекословно. – И такой постелью я должен удовольствоваться по милости общества! Ха! Ну, хорошо же!

Господин Ланье вытянулся на кровати и завернулся в одеяло по самые плечи, так что лишь голова, повязанная рваным платком, зловеще торчала наружу; и Жан-Батист вдруг очень ясно представил себе то едва не случившееся событие, после которого ему, Жан-Батисту, уже не пришлось бы смотреть, как вздергиваются кверху эти усы и загибается книзу этот нос.

– Итак, слепая прихоть судьбы опять свела нас вместе. Что ж, черт возьми, тем лучше для тебя. Ты от этого только выиграешь. А теперь мне нужно хорошенько выспаться. Не вздумай будить меня утром.

Жан-Батист пообещал, что не станет его беспокоить, и, пожелав ему доброй ночи, задул свечу. Следовало бы ожидать, что после этого он станет раздеваться; однако он сделал как раз обратное: оделся с ног до головы, не надел только башмаков. Затем он лег на свою кровать,

натянул одеяло – не развязав даже рукавов куртки, по-прежнему завязанных у подбородка, – и закрыл глаза.

Когда он открыл их снова, утренняя заря уже алела в небе, озаряя свою крестницу и тезку. Маленький итальянец встал, подошел к двери, с величайшей осторожностью повернул ключ в замке и, держа башмаки в руках, тихонько спустился с лестницы. Внизу еще не заметно было никаких признаков жизни; только смешанный запах кофе, вина, табака и сиропов носился в воздухе, и в полутьме причудливо маячила пустынная буфетная стойка. Но Жан-Батисту никто не был нужен; он еще вчера уплатил по своему скромному счету и сейчас хотел только одного: надеть башмаки, вскинуть на спину свою котомку, отворить дверь и бежать без оглядки.

Его желание исполнилось. Ничто не нарушило тишины, когда он отворял дверь; никакой голос его не окликнул: никакая голова, повязанная рваным платком, не высунулась зловеще в окошко мансарды. Когда солнце взошло наконец над прямой линией горизонта и даль мощеной дороги, обсаженной чахлыми деревцами, загорелась в его лучах, на этой дороге можно было увидеть черное пятнышко, двигавшееся между полыхающих пламенем дождевых луж, – то Жан-Батист Кавалетто спасался бегством от своего покровителя и друга.

Глава XII

Подворье Кровоточащего Сердца

Та часть Лондона, где расположено было Подворье Кровоточащего Сердца, находилась в черте города, хотя во времена Вильяма Шекспира, сочинителя пьес и актера, это было предместье, через которое вела дорога к знаменитым королевским охотничьим угодьям; сейчас, правда, дичи тут не осталось, разве что для любителей охоты на людей. И вид и судьба этих мест с той поры изменились, но какой-то слабый отблеск былого величия не исчез и поныне. Над крышами высились два или три ряда мощных дымовых труб, в домах еще уцелели кой-где просторные темные залы, которые каким-то чудом не разгородили и не перестроили до неузнаваемости, и все это придавало Подворью свое особое лицо. Жил здесь бедный люд, приютившийся под сенью обветшалой славы, подобно тому как арабы пустыни разбивают свои шатры среди разрушающихся пирамид; но все обитатели Подворья убеждены были в том, что у него есть свое лицо, и по этому поводу испытывали трогательное чувство семейной гордости.

С течением времени местность вокруг Подворья Кровоточащего Сердца становилась все выше и выше, как будто нетерпение разрастающегося города распирало землю, на которой он стоял; и теперь, чтобы попасть туда, приходилось спускаться на несколько ступенек, в которых прежде никакой надобности не было; чтоб выйти оттуда, нужно было нырнуть в ворота, выходящие в лабиринт кривых и грязных переулков, которые, кружа и петляя, постепенно поднимались на уровень окружающих улиц. Завод Дэниела Дойса помещался в глубине Подворья, над самыми воротами, и оттуда шел порой сотрясавший весь дом металлический перестук, точно билось железное кровоточащее сердце.

По вопросу о том, откуда пошло название Подворья, мнения обитателей разделялись. Люди практического склада склонялись к предположению, что здесь когда-то было совершено убийство. Более чувствительные и наделенные более пылким воображением (в том числе все представительницы прекрасного пола) предпочитали верить легенде о юной деве, которую жестокий отец подверг заточению за то, что она, храня верность своему возлюбленному, противилась браку с избранником отца. По словам легенды, эта юная дева до самой смерти имела обыкновение сидеть у своего забранного решеткой окна и тихонько петь грустную любовную песню с таким припевом: «Раненое сердце, раненое сердце, раненое сердце кровью истечет». Сторонники убийства возражали, что упомянутый припев, как известно всем, сочинен одной вышивальщицей, романтически настроенной старой девой, и поныне проживающей в Подворье. Тем не менее, поскольку легенда без любви не легенда и поскольку люди значительно чаще влюбляются, нежели совершают убийства – каковой порядок, при всей испорченности человеческой природы, сохранится, будем надеяться, до конца наших дней, – версия о раненом сердце, которое истечет кровью, была принята подавляющим большинством голосов. Ни та ни другая партия не желала слушать знатоков старины, доказывавших в своих ученых лекциях, что Кровоточащее Сердце можно видеть в гербе древнего рода, чьи владения здесь некогда находились. И если вспомнить, какой грубый, серый песок пересыпался туда и обратно в песочных часах, день за днем и год за годом измерявших существование обитателей Подворья, то вполне понятно, почему так упорно защищали они ту единственную золотую песчинку поэзии, что в нем блестела.

Дэниел Дойс, мистер Миглз и Кленнэм сошли по ступенькам вниз и очутились в Подворье Кровоточащего Сердца. Пройдя между двумя рядами отворенных дверей, у которых толпились тщедушные ребятишки, нянчившие ребятишек отнюдь не тщедушных, они дошли до ворот в дальнем конце. Здесь Артур Кленнэм остановился, чтобы отыскать жилище штукатура Плорниша – о котором Дойс, как истый лондонец, живя рядом, и слыхом не слыхал до этого дня.

А между тем достаточно было повернуть голову, чтобы прочесть его фамилию. Она, как и говорила Крошка Доррит, была написана над входом в крайний флигель, у забрызганного известью закоулка, где стояла принадлежавшая штукатуру лестница-стремянка и две или три бочки. Дом был большой, населенный многими жильцами, но хитроумный Плорниш, в интересах возможных посетителей, поместил под своей фамилией изображение руки, указательный палец которой (по воле живописца украшенный перстнем и наделенный ногтем изящнейшей формы) был обращен в сторону передней квартиры первого этажа.

Уговорившись с мистером Миглзом о встрече, Кленнэм распрощался со своими спутниками, последовал указанию вышеописанной руки и постучал в дверь. Ему отворила женщина с ребенком на руках, торопливо застегивавшая платье на груди. Это была миссис Плорниш, и этот материнский жест говорил о том, чему было посвящено почти все свободное от сна существование миссис Плорниш.

– Дома ли мистер Плорниш?

– Извините, сэр, – ответила миссис Плорниш, женщина учтивая. – Скажу без обмана, он ушел искать работы.

«Скажу без обмана» было излюбленной поговоркой миссис Плорниш. Не то чтобы она когда-нибудь кого-нибудь собиралась обманывать, но ее речь неизменно начиналась с этого заверения.

– А он не скоро вернется? Я бы подождал.

– Вот уже полчаса как я сама жду его с минуты на минуту, – сказала миссис Плорниш. – Войдите, сэр.

Артур вошел в довольно темную и душную, несмотря на высокий потолок, комнату и уселся на предложенный ему стул.

– Скажу без обмана, сэр, я все вижу, – заметила миссис Плорниш. – Все вижу и все чувствую.

Не понимая, о чем она, Артур посмотрел на нее с недоумением, которое заставило ее объяснить свои слова.

– Не всякий, войдя к бедным людям, считает нужным снять шляпу, – сказала она. – Но некоторых это трогает больше, чем думают некоторые.

Кленнэм, смущенный тем, что такая пустяковая вежливость принимается как нечто из ряду вон выходящее, пробормотал что-то вроде «Не стоит и говорить» и, нагнувшись, потрепал по щеке ребенка постарше, который сидел на полу и во все глаза смотрел на незнакомца.

– Вон какой крепыш, – сказал он. – Сколько же ему лет?

– Четыре годка, сэр, только что исполнилось, – отвечала миссис Плорниш. – Он и правда крепыш. А вот этот у меня слабенький. – Она с нежностью взглянула на младенца, которого укачивала на руках. – С вашего позволения, сэр, вы не насчет работы ли пришли? – спросила она после некоторого молчания.

Такая тревога слышалась в голосе, которым был задан этот вопрос, что, будь Артур владельцем хоть какой-нибудь конуры, он бы с радостью заказал покрыть ее слоем штукатурки в фут толщиной, только бы не говорить «Нет». Но пришлось сказать «нет», и миссис Плорниш, подавив вздох, печально уставилась на догоравший огонь. Лишь теперь Артур разглядел, что миссис Плорниш совсем еще молодая женщина, но несколько опустившаяся из-за бедности, в которой она жила; бедность и дети дружными усилиями состарили ее раньше времени, и на лицо легла сеть мелких морщин.

– И куда только девалась вся работа на свете, – сказала миссис Плорниш. – Как будто сквозь землю провалилась, честное слово. (Замечание миссис Плорниш касалось только штукатурного ремесла и не имело отношения к Полипам и к Министерству Волокиты.)

– Неужели так трудно получить работу? – спросил Артур Кленнэм.

– Плорнишу трудно. Очень уж ему не везет. Правда, не везет.

Да, ему не везло. Попадают такие путники на дорогах жизни, у которых словно от рождения чудовищные мозоли на ногах, мешающие им угнаться даже за хромыми соперниками. Плорниш был одним из таких. Честный малый, работяга, добряк, хотя немного тугодум, он кротко сносил превратности судьбы, но судьба обходилась с ним сурово. Лишь редко-редко случалось, что кому-нибудь требовались его услуги, лишь в исключительных случаях его знания и опыт находили себе применение, и он никак не мог взять в толк, отчего это происходит. А потому он жил, как жилось, не успев опомниться от одной передрыги, попадал в другую, и из всех этих передрыг выходил с помятыми боками.

– А уж он ли не хлопочет насчет работы, – продолжала миссис Плорниш, округлив брови и пристально глядя в каминную решетку, словно в надежде отыскать там разгадку своих недоумений, – он ли не трудится не за страх, а за совесть, когда работа есть. Что-что, а ленивым моего мужа никто не назовет.

В той или иной мере беда Плорниша была общей бедой всех обитателей Подворья Кровоточащего Сердца. Время от времени в стране начинали звучать голоса, с большим пафосом жаловавшиеся на недостаток рабочих рук – видимо, это обстоятельство крайне раздражало некоторых людей, полагавших, что по их природному, неотъемлемому праву рабочие руки всегда должны быть к их услугам, в любом количестве и на любых, им угодных условиях, – но почему-то этот усиленный спрос на рабочие руки не облегчал положения обитателей Подворья Кровоточащего Сердца, хоть трудно было бы найти в Англии другое подворье, населенное такими трудолюбивыми людьми. Старинной аристократической фамилии Полипов, озабоченной тем, как не делать того, что нужно, недосуг было заняться этим вопросом; тем более что этот вопрос никакого касательства не имел к ее неусыпным стараниям оказаться впереди всех других аристократических фамилий, за исключением Чваннингов.

Покуда миссис Плорниш рассуждала так о своем супруге и повелителе, явился он сам. Человек лет тридцати, долговязый, мешковатый, простодушного вида. Круглое лицо, румяные щеки, русые бакенбарды, фланелевая блуза, перепачканная известью.

– Вот и Плорниш, сэр.

– Мне бы хотелось, – сказал Кленнэм, вставая ему навстречу, – побеседовать с вами по одному делу, касающемуся семейства Доррит, если не возражаете.

Плорниш насторожился. Как будто почувал кредитора.

– Вот оно что, – сказал он. Но чем же он-то может быть полезен джентльмену, интересующемуся этим семейством? И о чем, собственно, идет речь?

– Я ведь вас знаю, – с улыбкой сказал Кленнэм, – во всяком случае, лучше, чем вы думаете.

Плорниш оставил улыбку без ответа, только заметил, что, кажется, не имел удовольствия встречаться с джентльменом раньше.

– Верно, – сказал Артур. – О ваших добрых поступках мне известно со стороны – но со стороны весьма надежной. От Крошки Доррит – то есть, простите, – поспешил он поправиться, – от мисс Доррит.

– Так вы – мистер Кленнэм? Ну, о вас-то я слышан, сэр.

– Как и я о вас, – сказал Артур.

– Пожалуйста, садитесь, сэр, мы вам очень рады. Как же, как же, – сказал Плорниш, взяв и себе стул и сажая на колени старшего сынишку, чтобы чувствовать моральную поддержку при разговоре с гостем. – Мне ведь самому пришлось побывать за решеткой Маршалси, там я и познакомился с мисс Доррит. Мы с женой хорошо знаем мисс Доррит.

– Мы ее близкие друзья, – вскричала миссис Плорниш. Надо сказать, она так гордилась этим знакомством, что, на зависть всему Подворью преувеличивала до астрономической цифры долг, за который сидел в тюрьме отец мисс Доррит. Кровоточащие сердца не могли простить миссис Плорниш ее близости со столь высокими особами.

– Сперва я познакомился с ее отцом. А познакомившись с ее отцом, я – ну, да – тут уж я познакомился с нею, – тавтологически заметил Плорниш.

– Понимаю.

– Эх, что за манеры! Что за тонкое воспитание! И такой джентльмен должен прозябать в долговой тюрьме! Вы, может, не знаете, сэр, – сказал Плорниш, понизив голос от благоговейного восторга перед тем, что по-настоящему должно было бы вызвать у него жалость или презрение, – вы, может, не знаете, но ведь мисс Доррит и ее сестра не смеют признаться ему, что зарабатывают себе на жизнь. Да, не смеют! – повторил Плорниш, с нелепым торжеством взглянув на жену, а затем по сторонам, – не смеют ему признаться!

– Во мне это не вызывает уважения, – сдержанно заметил Кленнэм, – но я искренне жалею мистера Доррита.

Слова Кленнэма, видно, впервые внушили Плорнишу смутное подозрение, что черта, которой он восторгался, быть может, не столь уж благородна. Он было задумался над этим, но так ни к чему и не пришел.

– А уж со мной-то мистер Доррит так любезен, что большего и желать нельзя, – добавил он все же, – особенно если принять во внимание, что такое я и что такое он. Впрочем, ведь не о нем сейчас речь, а о мисс Доррит.

– Да, вы правы. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомили ее с моей матерью.

Мистер Плорниш извлек из левой бакенбарды комочек извести, положил его в рот, пососал, словно это был леденец, прикинул в уме, удастся ли ему вразумительно изложить все обстоятельства, и, решив, что нет, обратился за помощью к жене.

– Расскажи лучше ты, Салли, как было дело.

– А вот как, – сказала Салли, продолжая укачивать младенца и подбородком прихватив его ручку, пытавшуюся снова раскрыть ей платье на груди. – Приходит однажды мисс Доррит к нам с бумажкой, на которой написано, что она желала бы получить работу по швейной части, и спрашивает, не будет ли нам неудобства, если она укажет наш адрес. (Плорниш повторил вполголоса, точно в церкви: «Укажет наш адрес».) Мы с Плорнишем сейчас же сказали, что никакого неудобства не будет (Плорниш повторил: «Неудобства не будет»), – и она вписала адрес в свою бумажку. Тут мы с Плорнишем говорим ей: «Погодите, мисс Доррит! (Плорниш повторил: «Погодите, мисс Доррит!») А не лучше ли написать три или четыре бумажки, чтобы их могли прочесть в разных местах?» – «Об этом я не подумала, – говорит мисс Доррит, – но, пожалуй, я так и сделаю». Села она вот за этот стол и переписала все несколько раз своим красивым круглым почерком, а потом Плорниш снес одну бумажку туда, где он работал – у него в то время как раз случилась работа (Плорниш повторил: «Случилась работа»), а другую – к нашему домохозяину; через него-то миссис Кленнэм и узнала про мисс Доррит и прислала за ней. – Плорниш повторил: «Прислала за ней»; а миссис Плорниш, окончив свой рассказ, стала ловить губами маленькие пальчики, делая вид, что хочет укусить их.

– А ваш домохозяин, – сказал Артур, – это...

– Мистер Кэсби, сэр, – ответил Плорниш. – Кэсби его фамилия, а еще есть Панкс, тот собирает квартирную плату. Да, – прибавил мистер Плорниш в задумчивости, которая, казалось, ни из чего не проистекала и ни к чему не вела, – так вот оно и обстоит, хотите верьте, хотите нет, ваша воля.

– А? – тоже в задумчивости отозвался Кленнэм. – Мистер Кэсби, вы сказали? Старый знакомый, очень старый знакомый.

Мистер Плорниш, видимо, не зная, какое мнение высказать по этому поводу, не высказал никакого. Собственно говоря, у него не было ни малейших причин интересоваться упомянутым обстоятельством, а потому Артур Кленнэм перешел к изложению цели своего прихода. Дело было в том, что он решил прибегнуть к посредничеству Плорниша, чтобы освободить из тюрьмы Типа, по возможности не задев его чувства самостоятельности и независимости – если

предположить, что хотя бы остатки такого чувства у него имеются, что, впрочем, было весьма сомнительно. Плорниш, которому подробности дела были известны от самого ответчика, объяснил Артуру, что истцом является один маклак, промышленяющий перекупкою лошадей, и что если рассчитаться с ним по десять шиллингов за фунт, то это будет «вполне по-божески», а давать больше – все равно что бросать деньги на ветер. Не теряя времени, доверитель и доверенный тут же отправились на Хай-Холборн, где в одной конюшне продавался по случаю великолепнейший серый мерин; цена ему была самое меньшее семьдесят пять гиней (не считая стоимости спиртного, которое ему подливали в пойло для придания лихого вида), а уступали его всего за двадцать фунтов только потому, что на днях он едва не сбросил с седла супругу капитана Барбери из Челтнема, и теперь эта дама, не желая признать себя плохой наездницей, нарочно решила продать его за бесценок – просто с досады. Оставив своего доверителя на улице, Плорниш один вошел в конюшню и застал там джентльмена в узких серо-бурых панталонах и сильно потертой шляпе, с голубым платком на шее и тоненькой тросточкой в руках. Это оказался капитан Марун из Глостершира, ближайший друг капитана Барбери; он забрел в конюшню совершенно случайно, но готов был из лучших побуждений сообщить вышеупомянутые подробности о великолепном сером мерине всякому истинному ценителю лошадей, который явится по объявлению, спеша воспользоваться столь редкой удачей. Он и был кредитором Типа, но тут же объявил, что мистеру Плорнишу надлежит обратиться к его поверенному, и что с мистером Плорнишем он разговаривать не станет, и что даже смотреть на мистера Плорниша не желает – вот если бы тот, в доказательство серьезности своих намерений, вручил ему немедленно билет в двадцать фунтов, тогда другое дело, можно бы и поговорить. Мистер Плорниш тут же отправился довести этот намек до сведения Кленнэма, и вручение требуемых верительных грамот состоялось. После чего капитан Марун сказал: «Ну, а как с остальными двадцатью? Хотите, я вам дам месяц сроку?» Когда это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда сделаем так: на те двадцать вы мне дадите вексель сроком на четыре месяца с переводом на какой-нибудь банк». Когда и это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда вот вам мое последнее слово: давайте еще десять фунтов наличными, и мы в расчете». Когда и это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда знаете что: ваш приятель меня здорово нагрел, но чтоб уж покончить с этим делом, давайте пять фунтов и бутылку вина, и я его освобожу. Согласны, так по рукам, а не согласны – скатертью дорога». А когда и это тоже было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну ладно, идет!» И выдал расписку в том, что претензий к должнику больше не имеется.

– Мистер Плорниш, – сказал Артур, – я вас очень прошу сохранить в тайне мою причастность к этому делу. Если вы возьмете на себя труд сообщить молодому человеку, что вам удалось достигнуть соглашения с его кредитором по поручению лица, пожелавшего остаться неизвестным, вы этим окажете услугу не только мне, но и самому Типу и его сестре.

– Последнего довода вполне достаточно, сэр, – сказал Плорниш. – Все будет исполнено в точности.

– Можете сказать, что долг уплатил друг. Друг, который надеется, что он употребит во благо возвращенную ему свободу, хотя бы ради сестры.

– Все будет исполнено в точности, сэр.

– А если вы, зная лучше меня обстоятельства этой семьи, стали бы без стеснения обращаться ко мне во всех случаях, когда, по вашему мнению, я могу быть полезен Крошке Доррит, не опасаясь задеть ее чувства, я был бы вам чрезвычайно обязан.

– Что вы, сэр, помилуйте, – возразил Плорниш, – да я и сам... да мне и самому... – Не видя возможности благополучно завершить начатую фразу, мистер Плорниш счел за лучшее отказаться от дальнейших попыток. Кленнэм вручил ему свою карточку и некоторое денежное вознаграждение.

Мистеру Плорнишу хотелось поскорей довести свою миссию до конца – желание, вполне разделявшееся его доверителем. Последний поэтому предложил подвезти его до ворот Маршалси, и они поехали туда через Блек-Фрайерский мост. По дороге Артуру удалось заставить своего нового знакомого разговориться, и он услышал несколько сбивчивый, но интересный рассказ о жизни обитателей Подворья Кровоточащего Сердца. Всем им живется нелегко, говорил Плорниш, а верней сказать, и вовсе тяжело живется. Почему оно так, кто его знает – скорей всего, что никто, но только так уж оно есть. Когда у человека пустой карман и пустой желудок, так человек знает, что он беден (тут мистер Плорниш был совершенно непоколебим в своем мнении), и словами его в этом не разуверишь, все равно как словами не говоришь ему в желудок хорошего бифштекса. А есть ведь люди, незнакомые с нуждой, которые чуть что начинают кричать, что в Подворье живут «расточительно» – это у них такое любимое словечко (а сами-то, между прочим, не задумываются прожить все, что имеют, а то и больше, так по крайней мере он, Плорниш, слышал). К примеру, позволит себе человек, может раз в году, съездить в Хэмптон-Корт с женой и ребятишками, а они тут как тут: «Эге, приятель! Мы думали, что вы бедняк, а вы вон как расточительствуете!» Ах ты господи, до чего же обидно это слышать! Ведь живешь-то как? От такой жизни и свихнуться недолго; а разве они от этого выиграют, если человек свихнется? По мнению мистера Плорниша, они от этого только проиграют. А между тем они словно даже и рады довести человека до того, чтобы он свихнулся. Только этого и добиваются – не одним манером, так другим. Вы хотите знать, чем занимаются обитатели Подворья? А вы бы зашли поглядели. Увидели бы, как дочери и матери гнут спину над работой, не зная ни дня ни ночи, шьют, чинят, перекраивают, перешивают, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, а бывает, что и того не заработаешь. Как мастеровые всех видов ремесла мечутся в поисках работы и не могут найти ее. Как старики, честно трудившие всю свою жизнь, вынуждены искать прибежища в работных домах, где с ними обращаются хуже, чем с какими-нибудь – мистер Плорниш хотел сказать «злоумышленниками», но сказал «промышленниками». Господи, ведь не знаешь, откуда ждать хоть кроху утешения! Что до того, кто же во всем этом виноват, то мистер Плорниш не знал, кто виноват. Он мог сказать, кто страдает, но не мог сказать, из-за кого приходится страдать. Не ему разбираться в таких вещах, а если б он и разбирался, кто бы стал его слушать? Он только знал, что те, кто берется исправить существующее зло, не исправляют его, а само по себе оно тоже не исправляется. Отсюда следовал нелогичный вывод, что если ему ничем не могут помочь, так пусть уж его оставят в покое; а то от всяческих попыток в этом роде ему только хуже приходится. Так, косноязычно, беззлобно и не слишком вразумительно сетуя на судьбу, Плорниш бродил вокруг сложной загадки своего положения в обществе, словно слепой, старающийся ощупью размотать запутанный клубок. У ворот тюрьмы они расстались, и Кленнэм поехал дальше один, размышляя о том, сколько тысяч Плорнишей распевают на разные лады ту же самую песню чуть не над самым ухом Министерства Волокиты, без того чтобы это прославленное учреждение хотя бы запомнило ее мотив.

Глава XIII

Под Патриаршим кровом

Упоминание о Кэсби вновь заставило разгореться в памяти Кленнэма чуть тлевшую искру интереса и любопытства, которую в день его приезда в Лондон раздула было миссис Флинтвинч. Предмет его юношеской любви звали Флора Кэсби, и Флора Кэсби была единственной дочерью Старого Истукана (как непочтительно величали за глаза Кристофера Кэсби кое-какие досужие умы, должно быть в близком знакомстве с ним получившие к тому основания). Мистер Кэсби был владельцем доходных домов, населенных беднотой, и если верить слухам, выжимал вопреки пословице немало масла из камня неприглядных с виду дворов и закоулков.

Потратив несколько дней на розыски и справки, Артур Кленнэм убедился, что в деле Отца Маршалси никаких концов не найти, и с грустью должен был отказаться от мысли помочь ему выйти на свободу. Набрести на какие-то сведения, важные для самой Крошки Доррит, тоже, видимо, нечего было рассчитывать; но он уверял себя, что именно ради нее решил возобновить старое знакомство – а вдруг да окажется это как-нибудь полезным для бедняжки. Нет нужды добавлять, что визит к мистеру Кэсби все равно состоялся бы, если бы даже никакой Крошки Доррит и на свете не было; но ведь известно, что всем нам («нам» в смысле человечества; мы лично составляем, разумеется, исключение) свойственно обманывать себя относительно причин, побуждающих нас к тому или иному поступку.

Итак, в один прекрасный вечер Артур Кленнэм подходил к дому мистера Кэсби в приятной и даже по-своему искренней уверенности, что им руководит лишь забота о Крошке Доррит – хотя Крошка Доррит тут была решительно ни при чем. Мистер Кэсби жил близ Грейс-Инн-роуд, в переулке, который ответвился от этой улицы с твердым намерением одним духом сбежать вниз, к подножью Пентонвиллского холма, и взобраться на его вершину, но, пробежав двадцать ярдов, запыхался и остановился, да так и не сделал больше ни шагу. Теперь этого переулкa больше нет, но много лет он просуществовал там, сконфуженно поглядывая на пятна чахлых садилов и прыщики беседок, испещрившие пустырь, который ему так и не удалось пересечь.

«Дом так же мало изменился, как и дом моей матери, – думал Кленнэм, поднимаясь по ступенькам, – и снаружи он такой же мрачный. Но на этом сходство кончается. Я помню чинное спокойствие, которое там царит внутри. Кажется, уже отсюда чувствуется запах сухих лепестков роз и лаванды».

И в самом деле, когда на стук ярко начищенного медного дверного молотка служанка отворила дверь, его встретил знакомый аромат, точно в зимнем холодном воздухе повеяло вдруг слабым дыханием давно прошедшей весны. Он вошел в этот безмолвный, безмятежный, воздухо непроницаемый дом, и дверь, затворившись за ним, словно отрезала его от шума и движения живой жизни. Мебель в доме была солидная, старинная, по-квакерски строгая, но добротная, и выглядела так внушительно, как обычно выглядит все – будь то деревянная табуретка или человеческое существо, – что могло бы приносить много пользы, а не приносит почти никакой.

Где-то наверху торжественно тикали часы, и безголосая птица долбила клювом клетку, тоже как будто тикая. В камине гостиной, потрескивая, тикал огонь. Перед камином сидел человек, и было слышно, как у него в кармане тикает хронометр.

Служанка доложила: «Мистер Кленнэм», но протикала эти слова так тихо, что они не были услышаны, и после ее ухода гость остался стоять у дверей, не замеченный хозяином. Последний, человек почтенных лет, сидел в глубоком кресле, вытянув на каминный коврик ноги в мягких туфлях, и медленно вращал большие пальцы рук один вокруг другого. Отблески

огня играли на его лице, и от этого казалось, будто его пушистые седые брови шевелятся в такт тиканью. Старого Кристофера Кэсби – это был он – можно было узнать с первого взгляда; за двадцать с лишком лет он изменился не больше, чем добротная мебель, его окружавшая, и чередование времен года проходило для него так же бесследно, как для сухих лепестков роз и лаванды в фарфоровых вазах.

Быть может, в этом изобилующем трудностями мире не сыскать другого человека, которого так трудно было бы вообразить себе ребенком, как мистера Кэсби. А между тем он почти не менялся на протяжении всей своей жизни. Прямо напротив его кресла висел портрет мальчика, в котором всякий признал бы сразу Кристофера Кэсби в возрасте десяти лет, даром что в руках он держал грабли (предмет столь же любезный и необходимый ему, как водолазный колокол), а сидел, поджав под себя одну ногу, среди цветущих фиалок, с противоестественным в его годы глубокомыслием созерцая шпиль деревенской церкви. То же гладкое лицо и гладкий лоб, те же ясные голубые глаза, то же кроткое выражение. Конечно, ни сияющей лысины, от которой голова казалась такой большой, ни обрамлявших ее седых кудрей, похожих на шелк-сырец или стеклянную пряжу, которые никогда не подстригались и, ниспадая до самых плеч, придавали этой голове такое благообразие, – ничего этого на портрете не было. И тем не менее в ангелочке с граблями легко было распознать все приметы патриарха в бархатных туфлях.

Патриарх – так его называли многие. Почтенные старушки из соседних домов говорили, что мистер Кэсби – последний из патриархов. И это название очень к нему подходило: он был такой медлительный, такой седовласый, такой спокойный, такой невозмутимый – чем не патриарх, в самом деле? К нему часто подходили на улице с покорнейшей просьбой послужить моделью для картины или статуи, изображающей патриарха; судя по настойчивости таких просьб, художники и скульпторы решительно не способны припомнить или вообразить черты, из которых складывается образ патриарха. Филантропы обоего пола справлялись, кто этот почтенный старец, и, услышав в ответ: «Кристофер Кэсби, бывший управляющий лорда Децимуса Тита Полипа», восклицали разочарованно: «Как, с такой головой, и он не радеть о благе ближнего? Как, с такой головой, и он не покровитель сырых, не защитник беззащитных?» Однако с такой головой он был и остался Стариком Кэсби, одним из самых богатых, если верить молве, домовладельцев округа, и с такой головой он сейчас мирно сидел в кресле в тишине своей гостиной. Впрочем, было бы верхом безрассудства предполагать, что он мог бы сидеть там вовсе без головы, хотя бы и такой.

Чтобы привлечь к себе внимание, Артур Кленнэм сделал шаг или два, и тотчас же на него вскинулись седые брови.

– Прошу прощенья, сэр, – сказал Кленнэм. – Вы, верно, не слышали, как обо мне доложили.

– Не слышал, сэр. Вы ко мне за каким-нибудь делом, сэр?

– Нет, только затем, чтобы принести вам свое почтение.

Мистер Кэсби был как будто чуточку разочарован этим ответом; быть может, он ожидал, что посетитель принес ему что-либо более существенное.

– А позвольте узнать, сэр... – начал он снова, – прошу садиться... позвольте узнать, с кем... Ба, ба, погодите! Если не ошибаюсь, мне знакомы эти черты! Уж не того ли я вижу джентльмена, о возвращении которого в родные края недавно говорил мне мистер Флинтвинч?

– Вы угадали, сэр.

– Неужели! Мистер Кленнэм?

– Он самый, мистер Кэсби.

– Рад вас видеть, мистер Кленнэм. Что новенького у вас за это время?

Полагая бесполезным распространяться о тех незначительных переменах, которые могли произойти в его здоровье и состоянии духа за четверть века, истекшие со дня их последней встречи, Кленнэм ограничился какой-то общей фразой, вроде того, что все обстоит у него как

нельзя лучше, и крепко пожал руку обладателю «такой головы», озарявшей его своим патриархальным сиянием.

– Стареем, мистер Кленнэм, – сказал Кристофер Кэсби.

– Да, не молодеем, – отозвался Кленнэм. Отпустив это глубокомысленное замечание, он должен был сознаться себе, что оно не блещет остроумием, и вдруг понял, что волнуется.

– Стало быть, ваш почтенный батюшка приказал долго жить, – продолжал мистер Кэсби. – Весьма прискорбно было услышать об этом, весьма прискорбно.

Артур, как положено в таких случаях, поблагодарил за участие.

– Было время, – сказал мистер Кэсби, – когда отношения между вашими родителями и мною несколько испортились. Тому причиной послужило маленькое семейное недоразумение. Ваша почтенная матушка, пожалуй, несколько ревниво относилась к своему сыну. Я разумею вашу достойную особу, сэр, вашу достойную особу.

Его гладкое лицо своею свежестью напоминало персик. От того, что лицо было таким свежим, глаза такими ясными, голова такой величественной, казалось, что он изрекает необыкновенно мудрые и добродетельные мысли. При этом выражение лица у него было самое благостное. Никто не мог бы сказать, где и в чем заключена его мудрость, добродетель и благость, но весь он был словно овеян этими качествами.

– Впрочем, – продолжал мистер Кэсби, – это все дело прошлое, дело прошлое. Теперь я время от времени навещаю вашу почтенную матушку и неизменно восхищаюсь, видя, с каким мужеством и силою духа она переносит свои тяжкие испытания, тяжкие испытания.

У него была привычка дважды повторять сказанное, и при этом он кротко улыбался, скрестив руки и склонив голову набок, с таким видом, словно затаил в своих мыслях нечто столь утонченное, что этого не выразишь словами. Казалось, он отказывает себе в удовольствии высказаться до конца, чтобы не воспарить слишком высоко, и из скромности ограничивается простым житейским разговором.

– Я слышал, – заметил Артур, торопясь воспользоваться мелькнувшим случаем, – что в одно из таких посещений вы взяли на себя труд рекомендовать моей матери Крошку Доррит.

– Крошку – какую крошку? Доррит? Ах, это швея, за которую просил меня один из моих жильцов? Да, да. Ее фамилия, точно, Доррит. Как же, как же. А вы ее зовете Крошкой Доррит?

Нет, попытка не удалась. Не стоит двигаться дальше по этой дороге. Она никуда не приведет.

– Моя дочь Флора, как вы, верно, знаете, – сказал мистер Кэсби, – несколько лет назад вышла замуж и зажила своим домом. Но она имела несчастье потерять мужа вскоре после свадьбы. Теперь она снова живет у меня. Она будет очень рада вас видеть, если вы мне позволите известить ее, что вы здесь.

– О, непременно! – воскликнул Артур. – Я сам хотел просить вас об этом, но вы любезно опередили меня.

Получив такой ответ, мистер Кэсби встал с кресла и направился к двери, медленно и грузно ступая в своих бархатных туфлях (он был слоноподобного сложения). На нем был просторный долгополый сюртук бутылочного цвета, бутылочного цвета жилет и бутылочного цвета панталоны. Патриархи не носили сукна бутылочного цвета, однако его одежда выглядела патриархальной.

Только что он вышел из комнаты, и в ней опять воцарилась лишь тиканьем нарушаемая тишина, как снаружи загремел ключ, который чья-то быстрая рука поворачивала в замке, а вслед за этим хлопнула парадная дверь, и почти тотчас же какой-то живой, чернявый человек так стремительно влетел в гостиную, что с разгона едва не наскочил на Кленнэма.

– Здорóво! – крикнул он.

Кленнэм решил, что ничто не мешает ему ответить тем же «Здорóво!».

– Ну, в чем дело? – спросил чернявый человек.

- А какое, собственно, дело? – переспросил Кленнэм.
- Где мистер Кэсби? – спросил чернявый человечек, оглядываясь по сторонам.
- Он сейчас вернется – если он вам нужен.
- *Мне* нужен? – удивился чернявый человечек. – А разве вам он не нужен?

Кленнэму пришлось объяснить положение в нескольких словах, которые чернявый человек выслушал, сдерживая дыхание и внимательно приглядываясь к говорившему. Он был одет в черное и в серое как бы с налетом ржавчины; его маленькие черные глазки напоминали агатовые бусины; короткий подбородок покрыт был двухдневной черной щетиной; жесткие черные волосы торчали, как зубья вилки или куски проволоки; лицо отличалось необыкновенной смуглотой, то ли искусственной – от грязи, то ли природной; а может быть, тут действовало сочетание природы и искусства. Руки были грязные, с грязными обломанными ногтями, как будто он только что вылез из угольной ямы. Он сопел, храпел, пыхтел и отдувался, точно маленький хлопотливый паровичок.

– Ага! – воскликнул он, когда ему наконец стало ясно, кто такой Артур и как здесь очутился. – Ну и чудесно! Превосходно! Так если он будет спрашивать насчет Панкса, вы ему скажите, что Панкс уже пришел, ладно? – И он тотчас же, сопя и пыхтя, выкатился в боковую дверь.

Когда-то давно, еще до своего отъезда из Англии, Артуру случалось ловить обрывки довольно странных слухов, ходивших о последнем Патриархе. Какие-то сомнения и подозрения носились в то время в воздухе; и сквозь туман этих подозрений Кристофер Кэсби рисовался чем-то вроде заманчивой вывески несуществующей гостиницы – призыва отдохнуть и возблагодарить там, где нет ни места для отдыха, ни повода для благодарности. Толковали даже, будто Кристофер Кэсби попросту хитрый обманщик, а под сияющими выпуклостями «такой головы» кроются весьма неблагоприятные замыслы. По другим толкам он выходил тупым, медлительным и себялюбивым ничтожеством, которое долго неуклюже топталось в гуще людской, пока ему не посчастливилось сделать открытие, что для успеха в жизни и доверия окружающих вполне достаточно держать язык за зубами, не стричь волос и заботливо холить лысину; и у него достало ума ухватиться за это открытие и приложить его к делу. Говорили, что лорд Децимус Тит Полип взял его в управляющие не за деловые качества, которых у него и в помине не было, но лишь за то, что от человека с такой ангельской кротостью во взоре трудно ожидать злоупотреблений или подвохов; и по тем же причинам он теперь извлекал из своих обветшалых владений не в пример больше выгоды, чем мог бы извлечь домохозяин, не обладающий столь неотразимой лысиной. Все эти толки сводились к тому (вспоминал Кленнэм, сидя один в тикающей гостиной), что часто люди выбирают себе образец для подражания так же, как описанные выше художники выбирают модель для картины; и подобно тому как на ежегодной выставке Королевской академии непременно увидишь какого-нибудь отвратительного живодера, запечатленного благодаря своим ресницам или икрам, или подбородку, в виде воплощения всех земных добродетелей – так и на великой Выставке жизни наружные приметы нередко принимаются за внутренние качества.

Перебирая в памяти все эти давние слухи и сопоставляя их с впечатлением, которое произвел на него мистер Панкс, Артур все больше (хотя и не окончательно) склонялся к мысли, что последний Патриарх и в самом деле – тупое ничтожество, способное лишь холить свою лысину. Бывает порой на Темзе, что громоздкое тяжелое судно неуклюже скользит по течению, поворачиваясь то боком, то кормой, застревая само и мешая всем другим, хоть при этом и кажется, что оно выполняет сложные навигационные маневры; и вдруг откуда-то вывернется маленький закопченный пароходик, возьмет его на буксир и деловито потащит вперед; вот так, должно быть, и грузный Патриарх был взят на буксир пыхтящим Панксом и теперь покорно тащился за этим юрким черномазым суденышком.

Приход мистера Кэсби и его дочери Флоры положил конец размышлениям Кленнэма. Он поднял голову, взглянул на предмет своей былой любви – и в тот же миг все, что еще оставалось от этой любви, дрогнуло и рассыпалось в прах.

Есть много мужчин, которые, всегда оставаясь верны самим себе, остаются верны и своему старому идеалу. И если идеал не выдерживает соприкосновения с действительностью, это отнюдь не говорит о непостоянстве, а скорее доказывает обратное; но крушение идеала – тяжелый удар. Именно это испытал Кленнэм. В юности он горячо любил женщину, которая сейчас вошла в гостиную, щедро расточал ей нерастроченные богатства своих чувств и воображения. В неприветливом отчем доме Кленнэма эти богатства никому не были нужны; подобно денежным сокровищам Робинзона Крузо, они ржавели без пользы, пока он не одарил ими свою избранницу. И хотя он давно уже не отводил ей никакого места ни в настоящем своем, ни в будущем, как если бы она умерла (да у него и не было уверенности, что этого не случилось), все же образ прошлого жил, не меняясь, где-то в заветных тайниках его сердца. И вот теперь входит в гостиную последний из патриархов и тремя короткими словами: «Вот и Флора!» – преспокойно предлагает ему бросить свое сокровище наземь и растоптать.

Флора, когда-то высокая и стройная, растолстела и страдала одышкой, но это было еще ничего. Флора, которую он помнил лилией, превратилась в пион, но это бы еще тоже ничего. Флора, чье каждое слово, каждая мысль когда-то казались ему пленительными, явно стала болтлива и глупа. Это уже было хуже. Флора, которая много лет назад была наивным и балованным ребенком, желала и сейчас остаться наивным и балованным ребенком. И это было самое худшее.

Вот и Флора!

– Ах, ах, – пискнула Флора, откинув голову набок и становясь карикатурой на прежнюю Флору; так выглядело бы ее изображение в погребальной пантомиме, если бы она жила и умерла в классической древности, – ах, мне стыдно показаться на глаза мистеру Кленнэму в моем теперешнем виде, боюсь, он меня не узнает, я ведь стала совсем старухой, это так ужасно, так ужасно.

Кленнэм поспешил заверить, что она изменилась не больше, чем следовало ожидать; в конце концов, время есть время, он это на себе видит.

– Ах, но мужчина совсем другое дело, и потом вам грех жаловаться, вы выглядите чудесно, зато я – о-о! – простонала Флора, – я стала просто урод.

Патриарх, видимо еще не уяснив себе, какова должна быть его роль в разыгрываемом представлении, на всякий случай безмятежно улыбался.

– Нет, вот уж кто действительно не меняется, – продолжала Флора, которая, раз начав говорить, никогда не могла добраться до точки, – кто ничуть не меняется, так это папаша, посмотрите, разве он не такой же в точности, как был и до вашего отъезда, я нахожу, что это даже нехорошо с его стороны служить живым упреком собственной дочери, ведь если дальше так пойдет, люди станут принимать меня за папашину мамашу.

До этого, по мнению Артура, было еще далеко.

– Ай-ай-ай, мистер Кленнэм, нельзя быть таким неискренним, – воскликнула Флора, – вы, я вижу, не утратили своей старой привычки говорить комплименты, совсем как, помните, в те времена, когда, ну когда вы утверждали, будто ваши чувства... то есть я не то хотела сказать, я... ах, я сама не знаю, что я хотела сказать! – Тут Флора смущенно хихикнула и подарила ему один из своих прежних томных взглядов.

Патриарх, догадавшись наконец, что его роль состоит в том, чтобы как можно скорей убраться со сцены, встал и направился к боковой двери, по дороге окликавая свой буксир. Тотчас же из какого-то отдаленного дока послышался ответный сигнал, и мистер Кэсби был благополучно отбуксирован из гостиной.

– Как, вы уже собираетесь уходить, – сказала Флора, поймав взгляд, который Кленнэм, не знавший, как выпутаться из смешного и досадного положения, бросил на свою шляпу, – нет, нет, не верю, чтобы вы были таким бессердечным, Артур – то есть я хотела сказать мистер Артур, – даже, пожалуй, следует говорить мистер Кленнэм – ах, боже мой, я сама не знаю, что говорю, – но ведь мы даже ни словом не вспомнили те счастливые дни, которые ушли и никогда не вернуться, а впрочем, может быть, лучше и не вспоминать о них, тем более что вас, вероятно, ожидает более интересное времяпрепровождение, и уж, конечно, я меньше всех на свете хотела бы помешать, хотя было время, когда – но я опять начинаю говорить глупости.

Неужели в те дни, о которых шла речь, Флора была такую же пустышкой болтушкой? Неужели то, что звучало для него тогда чарующей музыкой, было похоже на эту бессвязную трескотню?

– Я, право, не сомневаюсь, – продолжала Флора, сыпя словами с завидной быстротой и из всех знаков препинания ограничиваясь одними запятыми, и то в небольшом количестве, – что вы там в Китае женились на какой-нибудь китайской красавице, оно и понятно, ведь вы так долго пробыли там, и потом вам нужно было расширять круг знакомств в интересах фирмы, так что ничего нет удивительного, если вы сделали предложение китайской красавице, и смею сказать, ничего нет удивительного, если китайская красавица приняла ваше предложение, и она может считать, что ей очень повезло, надеюсь только, что она не из сектантов, которые молятся в пагодах.

– Вы ошибаетесь, Флора, – сказал Артур, невольно улыбнувшись, – ни на какой красавице я не женился.

– Ах, мой бог, но надеюсь, вы не из-за меня остались холостяком! – воскликнула Флора. – Нет, нет, конечно нет, смешно было бы и думать, и, пожалуйста, не отвечайте мне, я говорю сама не знаю что, вы мне лучше расскажите про китайцев, верно ли у них такие узкие и длинные глаза, как на картинках, вроде перламутровых фишек для игры в карты, а на спине висит длинная коса на манер хвоста, или это только мужчины носят косы, а потом вот еще колокольчики, почему это у них такая страсть везде навешивать колокольчики, на мостах, на храмах, на шляпах, хотя, может быть, это все выдумки? – Флора наградила его еще одним прежним взглядом и тут же понеслась дальше, как будто на все ее вопросы уже был дан обстоятельный ответ.

– Так, значит, это все правда! Боже мой, Артур – ах, простите, я по привычке – мистер Кленнэм, следовало бы сказать – и как вы могли столько времени прожить в такой стране, ведь там, наверно, всегда темно и дождь идет, иначе зачем столько фонарей и зонтиков, ну, конечно, это уж такой климат, вот, должно быть, прибыльное занятие, торговать там фонарями и зонтиками, раз ни один китаец без них не обходится, а какой странный обычай уродовать ноги с детства, чтобы можно было носить маленькие башмачки, а я и не знала, что вы такой любитель путешествий.

Тут Кленнэм, уже готовый впасть в отчаяние, был снова ошарашен прежним взглядом, с которым решительно не знал, что делать.

– Ах, бог мой, – продолжала Флора, – как подумаешь, сколько произошло перемен за время вашего отсутствия, Артур – то есть, конечно, мистер Кленнэм, никак не могу отвыкнуть, как-то само собой получается, – пока вы там изучали китайский язык и нравы, я уверена, что вы говорите по-китайски, как настоящий китаец, если не лучше, вы ведь всегда были такой способный и сообразительный, но это все-таки должно быть ужасно трудно, я бы, наверно, умерла, если бы попыталась прочесть хотя бы, что написано на ящиках с чаем, да, многое изменилось, Артур – вот, опять, само собой, хоть и не следовало бы, – и главное, все такие неожиданные перемены, ну кому бы, например, пришла в голову какая-то миссис Финчинг, когда она и мне-то самой не приходила в голову.

– Это ваша фамилия по мужу, Финчинг? – спросил Артур; его вдруг тронула задушевная нотка, звучащая в ее голосе, когда она в своей бессвязной болтовне касалась отношений, их некогда связывавших.

– Да, Финчинг, не правда ли, ужасная фамилия, но сам мистер Ф. говорил, делая мне предложение, а он мне делал предложение семь раз и после того еще великодушно согласился целый год «женихаться», как он это называл, и вот он говорил, что это не его вина, раз такая фамилия, и поделаться он тут тоже ничего не может, что ж, это и в самом деле так, а вообще он был прекрасный человек, на вас совсем не похож, но прекрасный человек.

Флоре наконец потребовалось перевести дух, и она на секунду остановилась. Но ровно на секунду: только поднесла к глазам самый кончик носового платка и, отдав дань памяти усопшего мистера Ф., – тотчас же ринулась дальше.

– Никто ведь не станет отрицать, Артур – то есть мистер Кленнэм, – что если вы теперь ко мне относитесь просто как добрый знакомый, то это вполне понятно, иначе оно и быть не может при изменившихся обстоятельствах, по крайней мере я в этом твердо уверена, так и знайте, но я не могу не вспомнить, что было время, когда все было по-другому.

– Дорогая миссис Финчинг... – начал Артур, вновь растроганный ее тоном.

– Ах, нет, не зовите меня этим гадким, безобразным именем; скажите «Флора».

– Флора. Уверяю вас, Флора, я очень рад вас видеть, и мне очень приятно, что вы, как и я сам, не забыли наивных мечтаний той далекой поры, когда мы с вами были молоды и все нам рисовалось в розовом свете.

– Что-то не похоже, право, – возразила Флора, надув губки, – вы так хладнокровно говорите обо всем этом, впрочем, я понимаю ваше разочарование, должно быть, тому причиной китайские красавицы – мандаринки, так их, кажется, называют? – а может быть, все дело во мне самой.

– Нет, нет, – запротестовал Кленнэм, – вы напрасно так говорите.

– Все не напрасно, – решительно заявила Флора, – отчего же не говорить, если это правда, ведь я знаю, что я совсем не та, какой вы ожидали меня увидеть, я это отлично знаю.

Тараторя без умолку, она, однако же, успела проявить наблюдательность, которая сделала бы честь и более умной женщине. И тем не менее она с бессмысленным упорством по-прежнему старалась приплести к их нынешней встрече давно забытую историю их детской любви, отчего Артуру начало казаться, что все это происходит во сне.

– Еще одно слово, – сказала Флора, к величайшему ужасу Кленнэма ни с того ни с сего придавая вдруг разговору характер любовной ссоры, – одно объяснение, которое вы должны выслушать, когда ваша мамаша явилась к моему папаше и устроила ему сцену, и меня позвали вниз, в маленькую столовую, и они там сидели в креслах друг против друга, точно два бешеных быка с зонтиком вашей мамашы посередине, что, по-вашему, я должна была делать?

– Дорогая миссис Финчинг, – попытался урезонить ее Артур, – все это было так давно и так далеко уже ушло в прошлое, что стоит ли всерьез...

– Но поймите, Артур, – возразила Флора, – я же не могу примириться с тем, что все китайское общество считает меня бессердечной, должна же я оправдаться, раз к тому представился случай, вы ведь прекрасно знаете, что оставались «Поль и Виргиния», которых нужно было вернуть, и я их получила без всякой весточки или знака, я понимаю, что вы не могли писать мне, когда я находилась под таким строгим присмотром, но что стоило хоть прилепить к переплету красную облатку, и я бы сразу поняла, что это означает: жду в Пекине, в Нанкине или что-то там еще есть третье, не помню, и я помчалась бы туда хоть пешком.

– Дорогая миссис Финчинг, вы ни в чем не виноваты, и я вас никогда не винил. Оба мы были слишком молоды, слишком незрелы и беспомощны, и нам ничего другого не оставалось, как только согласиться на разлуку. Подумайте, ведь столько лет уже прошло, – мягко убеждал ее Артур.

– Еще одно слово, – неумолимо продолжала Флора, – еще одно объяснение, которое вы должны выслушать, у меня тогда сделался насморк от слез, и я целых пять дней не выходила из угловой гостиной – если вам нужны доказательства, можете посмотреть, эта угловая гостиная и сейчас там, где была, в первом этаже, – а потом, когда эти тяжелые дни миновали, я немного успокоилась, и год за годом проходил, и вот мы у одних наших друзей познакомились с мистером Ф., и он был очень любезен и назавтра же навестил нас, а потом стал навещать по три раза в неделю и присылать разные деликатесы к ужину, он меня не то что любил, мистер Ф., он меня просто обожал, и когда мистер Ф. сделал мне предложение с папашина ведома и согласия, как, по-вашему, я должна была поступить?

– Именно так, как поступили, – поторопился ответить Артур. – Позвольте старому другу от всей души заверить вас, что вы поступили вполне правильно.

– И еще одно последнее слово, – продолжала Флора, движением руки отстраняя житейскую прозу, – еще одно, последнее объяснение, ведь задолго до того, как явился мистер Ф. со своими любезностями, в смысле которых не приходилось сомневаться, было время, когда... но этому не суждено было сбыться, а теперь все это в прошлом, дорогой мистер Кленнэм, вы не носите золотых цепей, вы свободны, и надеюсь, еще будете счастливы, ну вот, извольте радоваться, папаша, вечно он сует свой нос, где его не спрашивают!

С этими словами и с торопливым застенчиво-предостерегающим жестом – в свое время так хорошо знакомым Артуру – бедная Флора отпустила в далекое, далекое прошлое прелестный образ самой себя в осьмнадцать лет и наконец поставила точку.

Или точнее сказать, она отпустила в прошлое одну половину этого прелестного образа, другую же прирастила к особе вдовы усопшего мистера Ф., превратив себя таким способом в некое фантастическое существо вроде сирены, вызывавшее в друге ее юности двойственное чувство: ему было и грустно и смешно.

Вот, например: теща свою душу воображаемыми тревогами и опасениями выдать несуществующую тайну, Флора изощрялась в таинственных знаках и намеках, как будто между нею и Кленнэмом существовал сговор самого волнующего свойства; как будто за углом дожидалась уже первая подстава лошадей для кареты, которая должна была умчать их в Шотландию, обетованную землю всех вступающих в брак без родительского согласия; как будто она не могла (и не желала бы) отправиться под руку со своим избранником в приходскую церковь под сенью фамильного зонтика, с благословения Патриарха и при единодушном одобрении всего человечества. Словно во сне – и это ощущение с каждой минутой становилось сильнее – смотрел Кленнэм, как вдова усопшего мистера Ф. безмерно развлекается, воображая себя и своего партнера в тех ролях, которые они исполняли в юности, и разыгрывая весь старый спектакль – хотя сцена покрыта пылью, декорации обветшали и выпцвели, актеров уже нет в живых, места для оркестра пусты и огни погашены. Но все же что-то трогательное было для него в этих нелепых попытках оживить то, что когда-то пленяло его своей естественностью; ведь они были вызваны встречей с ним и будили в душе нежные воспоминания.

Патриарх стал уговаривать Кленнэма остаться к обеду, и Флора знаками подсказала: «Да!» Кленнэму было так совестно за испытанное им разочарование, он так искренне сожалел о том, что Флора не показалась ему такою, какой она была (а может быть, и не была) двадцать лет тому назад, что участие в семейном обеде представилось ему наименьшей из искупительных жертв, на которые он чувствовал себя готовым. А потому он остался.

Панкс тоже обедал с ними. Ровно без четверти шесть Панкс выплыл из своего дока где-то в недрах дома и поспешил на помощь к Патриарху, который в это время беспомощно барахтался в мелководье весьма сбивчивых объяснений касательно Подворья Кровоточащего Сердца. Панкс тотчас же взял его на буксир и вывел в главный фарватер.

– Подворье Кровоточащего Сердца? – подхватил Панкс, фыркнув и засопев. – Беспокойное владение. Дает вам неплохой доход, но собирать там квартирную плату тяжелое дело. От этого одного владения вам беспокойств больше, чем от всех остальных, вместе взятых.

Подобно тому как неискушенным зрителям всегда кажется, будто большое судно движется независимо от буксира, так и тут могло показаться, будто Патриарх сам произносит все, что за него говорил Панкс.

– В самом деле! – отозвался Артур, в котором это впечатление, созданное сиянием патриаршей лысины, было настолько сильно, что он невольно обращался к судну, а не к буксиру. – Должно быть, там все больше живут бедняки?

– Вам это неизвестно, бедняки они или не бедняки, – пропыхтел Панкс, вскинув бусины-глазки на своего хозяина и вытаскивая из серо-ржавого кармана грязную руку, чтобы погрызть что там еще осталось от ногтей. – Их послушать, так они все бедняки, но ведь это так всегда говорится. Если человек говорит, что он богат, можете быть уверены, что это неправда. Да если они и в самом деле бедняки, вы-то что тут можете поделаться? Вы и сами станете бедняком, если не будете получать арендную плату.

– И это верно, пожалуй, – сказал Артур.

– Вы ведь не возьмете на себя попечение обо всех бедняках Лондона, – продолжал Панкс. – Вы не станете отдавать им комнаты даром. Не раскроете им ворота, приходи, мол, кто хочет, вход бесплатный. Нет, ничего этого вы и не подумаете делать.

Мистер Кэсби покачал головой все с тою же безмятежной и благостной неопределенностью.

– Если человек нанял у вас комнату за полкроны в неделю, а когда неделя пройдет, он эти полкроны не может уплатить, вы что ему скажете? Вы скажете: «А зачем ты нанимал комнату? Если у тебя нет денег, у тебя не должно быть и комнаты. Где твои деньги, куда ты их девал? Что вообще это значит? Что ты воображаешь?» Вот что вы говорите в таких случаях. А не говорите – тем хуже для вас. – Тут мистер Панкс произвел весьма странное зловещее рокотанье в глубине своего носа, как будто собираясь высморкаться, однако же никакого иного эффекта, кроме звукового, не воспоследовало.

– У вас, кажется, имеются еще подобные владения, к востоку и к северо-востоку отсюда? – спросил Кленнэм, решительно не зная, к кому из двоих адресовать свой вопрос.

– Имеются, как же, – отвечал Панкс. – Только вот к востоку там или к северо-востоку, это для вас роли не играет. Вы с компасом не сверялись. Вам что нужно? Вам нужно, чтобы капитал был помещен надежно и выгодно. Где нашли подходящее место, там и взяли. А насчет его расположения, так тут вы не привередливы, нет.

За обедом к обществу присоединилась еще одна, весьма примечательная фигура, также обитавшая под сенью патриаршего шатра. Это была маленькая пучеглазая старушка с лицом дешевой деревянной куклы из тех, которым, сообразно цене, никакого выражения не положено. Желтый парик с тугими буклями криво сидел у нее на макушке, как будто ребенок, обладатель куклы, приколотил его гвоздиком, где пришлось, лишь бы не свалился. Другую особенность удивительной старушки составляли несколько вмятин на лице, словно тот же ребенок исковырял его ложкой или иным тупым орудием, – одно из таких повреждений явственно выделялось на кончике носа. Третья особенность удивительной старушки заключалась в том, что у нее не было своего имени: она звалась тетужкой мистера Ф.

Знакомство с ней Кленнэма произошло при следующих обстоятельствах: когда на стол уже подали первое блюдо, Флора вдруг спросила, слышал ли мистер Кленнэм о наследстве, которое ей оставил мистер Ф. Кленнэм в ответ выразил глубокую уверенность, что мистер Ф. завещал обожаемой супруге если не все свое земное достояние, то, во всяком случае, большую его часть. Ну, разумеется, сказала Флора; в завещании мистера Ф. отразились все прекрасные качества его души, но не об этом сейчас речь; кроме земного достояния он еще оставил ей

наследство особого рода: свою тетушку. Она тут же вышла из столовой и спустя несколько минут возвратилась вместе с вышеупомянутым наследством, которое и представила торжественно: «Тетушка мистера Ф.».

Характер тетушки мистера Ф., как это сразу бросалось в глаза постороннему наблюдателю, отличался крайней суровостью и угрюмой молчаливостью; последней она лишь время от времени изменяла, отпуская зловещим низким голосом замечания, которые, не имея ни прямой, ни косвенной связи с предметом общего разговора, огорошивали и пугали собеседников. Возможно, эти замечания представляли собой звенья единой цепи сокровенных размышлений тетушки мистера Ф., возможно, они были остроумны и даже обладали весьма тонким смыслом, но, к несчастью, чтобы понять их, требовался ключ, а ключа не было.

Обед, отменно приготовленный и отлично сервированный (все в обиходе патриаршего дома благоприятствовало хорошему пищеварению), начался с супа, жареной камбалы, картофеля и соуса из креветок. Разговор по-прежнему вертелся вокруг взимания квартирной платы. Тетушка мистера Ф. минут десять молча косилась на всех с угрюмой враждебностью, после чего мрачно изрекла следующее:

– Когда мы жили в Хэнли, медник украл у Барнсов гусака.

Мистер Панкс, не теряя присутствия духа, кивнул головой и сказал: «Совершенно верно, сударыня». Но Кленнэма это загадочное сообщение перепугало не на шутку. Было и еще одно обстоятельство, заставлявшее бояться почтенной дамы. На всех тараща глаза, она, однако же, никого как бы не видела. Допустим, учтивый и предупредительный сосед пожелал бы выяснить ее отношение к картофелю. Его выразительная пантомима не произвела бы никакого впечатления, и что ему тогда было делать? Не мог же он сказать: «Тетушка мистера Ф., не угодно ли?» Оставалось одно: в страхе и растерянности положить ложку – как и поступил Кленнэм.

Подавали баранину, бифштекс, яблочный пирог (ничего, что имело хотя бы отдаленную связь с гусаками); обед тянулся, как тянется всякая трапеза, лишённая приправы воображения. Когда-то Артур, сидя за этим самым столом, ни на что не глядел и ничего не замечал, кроме Флоры; теперь, глядя на Флору, он против воли замечал, что она большая охотница до портю, что чувствительные воспоминания не мешают ей отдавать должное хересу и что нажитая ею дородность не составляет необъяснимого чуда. Что касается последнего из патриархов, то он всегда отличался могучим аппетитом и уминал за обе щеки обильную и плотную пищу с благостной улыбкой добряка, насыщающего голодных. Мистер Панкс, торопясь по обыкновению, то и дело поглядывал в засаленную записную книжку, лежавшую рядом с его прибором (должно быть, в ней значились имена неисправных плательщиков, посещение которых он припас себе на десерт); он словно не ел, а заправлялся топливом, шумно, суетливо, роняя куски, пыхтя и отфыркиваясь, готовый вот-вот развести пары.

Приобретя вкус к еде и напиткам, Флора, однако же, не потеряла вкуса к романтике и в течение всего обеда усердно отдавала дань тому и другому, так что под конец Артур уже не поднимал глаз от тарелки из страха встретить очередной выразительный взгляд, предостерегающий или исполненный таинственного значения, словно бы понятного лишь им двоим.

Тетушка мистера Ф. хранила безмолвие и только с уничтожающим презрением смотрела на Кленнэма; но когда убрали со стола и подали десерт, она разразилась новым замечанием, внезапным, словно бой часов, и столь же чуждым течению застольной беседы.

Флора только что сказала:

– Мистер Кленнэм, не будете ли вы так добры налить портвейна тетушке мистера Ф.?

– Монумент у Лондонского моста, – тотчас же провозгласила упомянутая дама, – поставлен после Большого лондонского пожара; но Большой лондонский пожар – это не тот пожар, когда сгорела фабрика вашего дяди Джорджа.

Мистер Панкс с прежним присутствием духа поспешил отозваться: «Неужели, сударыня! Это очень любопытно!» Но тетушка мистера Ф., должно быть, усмотрела тут возражение или иную обиду и, вместо того чтобы снова застыть в безмолвии, гневно заявила:

– Ненавижу дураков!

Это суждение, само по себе исполненное почти соломоновой мудрости, приняло, однако, столь вызывающий и оскорбительный характер, будучи высказано прямо в лицо гостю, что дальнейшее присутствие тетушки мистера Ф. в столовой сделалось явно неудобным. Флора тут же позаботилась ее вывести, что удалось без всякого труда, так как тетушка мистера Ф. не оказала сопротивления и только с непримиримой враждебностью осведомилась, выходя:

– И чего ему тут нужно?

Вернувшись в столовую, Флора принялась уверять, что ее наследство – премилая старушка и умница, но со странностями, и подчас у нее бывают «беспричинные антипатии», – впрочем, последним обстоятельством Флора, кажется, даже склонна была гордиться. Тут сказала природная доброта Флоры, и за то, что тетушка мистера Ф. способствовала проявлению этого качества, Кленнэм готов был отнестись к ней снисходительно, тем более что уже избавился от ее устрашающего присутствия и мог спокойно выпить бокал-другой вина со всем обществом. Но тут ему пришло в голову, что Панкс не замедлит сняться с якоря, а Патриарх того и гляди уснет; сообразив это, он поспешно сослался на необходимость навестить еще мать и спросил у мистера Панкса, в какую сторону тот направляется.

– К Сити, сэра, – сказал Панкс.

– Мы можем пойти вместе, если хотите, – предложил Артур.

– С удовольствием, – сказал Панкс.

Меж тем Флора таинственным полусшепотом, предназначенным лишь для ушей Кленнэма, нанизывала торопливые фразы, в которых говорилось о том, что было время, когда... и что к прошлому возврата нет и что он не носит больше золотых цепей и что она верна памяти усопшего мистера Ф. и что она будет дома завтра в половине второго и что веления судьбы непреложны и что она, разумеется, не предполагает, будто он может прогуливаться по северной аллее Грейс-Иинн-Гарденс ровно в четыре часа пополудни. Прощаясь, он сделал попытку дружески пожать руку нынешней Флоре – не той Флоре, которой уже не было, и не Сирене, но из этого ничего не вышло: Флора не захотела, не смогла, обнаружила полнейшую неспособность отделить себя и его от образов их далекого прошлого. С печальным чувством ушел он из патриаршего дома и еще целых четверть часа брел словно во сне; так что, не будь при нем, по счастью, надежного буксира, кто знает, куда бы занесли его ноги.

Когда наконец свежий воздух и отсутствие Флоры помогли Артуру прийти в себя, первое, что он увидел, был Панкс, который на полном ходу, пыхтя и отфыркиваясь, обгладывал последние жалкие остатки ногтей с одной руки. Другая рука была засунута в карман, а выдававшая виды шляпа надета задом наперед, и все это вместе, по-видимому, служило у него признаком усиленной работы мысли.

– Прохладный вечер, – заметил Артур.

– Да, пожалуй, – согласился Панкс. – Вы, как приезжий, должно быть, чувствительней меня к лондонской погоде. Мне-то, сказать по правде, ее и замечать некогда.

– Вы ведете очень хлопотливую жизнь?

– Да, у меня всегда хлопот полон рот, то за тем присмотри, то за этим. Впрочем, я люблю такую жизнь, – сказал Панкс, прибавляя шаг. – Человек для того и создан, чтобы заниматься делом.

– Только для этого? – спросил Кленнэм.

Панкс ответил вопросом на вопрос:

– Для чего же еще?

В этой короткой фразе была выражена вся суть сомнения, которое издавна мучило Кленнэма, и он промолчал в раздумье.

– Вот то же я всегда говорю нашим жильцам, – снова заговорил Панкс. – Есть среди них такие – из тех, что нанимают квартиры понедельно. Как приду, сейчас начнут охать и жаловаться: «Мы бедные люди, сэр, всю жизнь гнем спину, бьемся, трудимся, не зная ни отдыха, ни сроку». А я им на это: «А для чего еще вы на свет созданы?» И разговор окончен. Потому что возразить тут нечего. Для чего еще вы на свет созданы? Вопрос ясный.

– О господи, господи! – вздохнул Артур.

– Вот я, например, – сказал Панкс, продолжая свой спор с воображаемым жильцом. – Как я сам считаю, по-вашему, для чего я создан? Для дела и ни для чего большего. Разбудите меня утром пораньше, дайте наспех проглотить чего-нибудь, и за работу! Да нажимайте на меня хорошенько, а я буду нажимать на вас, а вы еще на кого-нибудь. Вот вам и весь священный долг человека в коммерческой стране.

Некоторое время они шли молча, потом Кленнэм спросил:

– Неужели у вас нет никаких склонностей, мистер Панкс?

– Склонностей? А что это значит? – сухо спросил Панкс.

– Ну, скажем, желаний.

– У меня есть желание разбогатеть, сэр, – сказал Панкс. – Только вот не знаю, как это сделать. – Тут он снова издал уже известное нам рокотанье, и Артуру впервые пришлось в голову, что это он так смеется. Удивительный человек был мистер Панкс. Можно было предположить, что он говорит не вполне серьезно, но сухой, отрывистый, резковатый тон, которым он выпаливал свои суждения, словно это были искры, летевшие из топки, не допускал, казалось, мысли о шутке.

– Вы, надо думать, не любитель чтения? – сказал Артур.

– Ничего не читаю, кроме счетов и деловых писем. Ничего не коллекционирую, кроме объявлений о розыске наследников. Вот если это, по-вашему, склонность, значит, одна склонность у меня есть. Вы, кстати, не из корнуоллских Кленнэмов, мистер Кленнэм?

– Насколько мне известно, нет.

– Да, я это и сам знаю. Я уже беседовал с вашей матушкой, сэр. А она такая женщина, которая своего не упустит.

– А если б я был из корнуоллских Кленнэмов, что тогда?

– Вы могли бы услышать кое-что приятное для вас.

– Вот как? Давно уже со мной этого не случалось.

– Есть в Корнуолле одно имение, сэр, которое само готово свалиться в руки, но нет там такого Кленнэма, который мог бы эти руки подставить, – сказал Панкс, доставая из кармана записную книжку и тут же снова ее пряча. – Ну, мне сюда. Позвольте пожелать вам доброй ночи.

– Доброй ночи, – отозвался Кленнэм. Но буксир, избавившись от баржи, которую ему приходилось тащить, сразу надал ходу и был уже далеко.

Оставшись один, Кленнэм немного постоял на углу Барбикана (Смитфилд они прошли вместе). У него было тяжело на душе, он чувствовал себя одиноким, как в пустыне, и ему вовсе не хотелось окончить этот вечер в мрачных комнатах материнского дома. Он повернул на Олдерсгейт-стрит и направился в сторону собора Св. Павла – его тянуло на людные, шумные улицы, где было много света, где бурлила жизнь. Медленно, в раздумье шагая по тротуару, он вдруг увидел толпу людей, двигавшуюся ему навстречу, и отступил к дверям какой-то лавки, чтобы дать дорогу. В центре толпы несколько человек несли на плечах большой темный предмет, и, когда они поравнялись с Кленнэмом, он увидел, что это носилки, наспех сооруженные из створки ставен, а на носилках человеческая фигура. Неподвижность этой фигуры, забрызганный грязью узелок в руках одного из идущих рядом, забрызганная грязью шляпа в руках

у другого – все заставляло предположить несчастный случай, и обрывки разговоров, донесшихся до Кленнэма, подтвердили это предположение. Дойдя до фонаря в нескольких шагах от Кленнэма, носильщики остановились – понадобилось что-то приладить; остановились и все остальные, и Кленнэм очутился в гуще толпы.

– Что это, несчастный случай? Кого-нибудь несут в больницу? – спросил он у старика, который стоял рядом, качая головой, и явно не прочь был вступить в беседу.

– Обычное дело, – ответил старик. – С этими дилижансами только того и жди. Под суд бы их да оштрафовать хорошенько, тогда бы знали. А то несутся со скоростью двенадцать миль в час, если не все четырнадцать. Удивительно, что они каждый день людей не убивают, эти дилижансы!

– Но ведь этот человек как будто не убит?

– Не знаю, – проворчал старик. – Если и не убит, так не потому, что дилижансы его пожалели, можете быть уверены.

Обличитель дилижансов скрестил на груди руки, готовый продолжить свою обличительную речь к пользе всех, кто захотел бы ее слушать. Тотчас же нашлись у него и единомышленники, главным образом из сочувствия к пострадавшему. «Сущее бедствие, эти дилижансы, сэр», – сказал чей-то голос, обращаясь к Кленнэму. «Вчера на моих глазах дилижанс чуть-чуть не задавил ребенка», – отозвался другой. «А я видел, как дилижанс переехал кошку, – подхватил третий, – а что, если б это была не кошка, а ваша родная мать?» И все совершенно недвусмысленно намекали на то, что, если Кленнэм пользуется каким-нибудь влиянием в общественных делах, он обязан употребить это влияние на борьбу с дилижансами.

– Уж мы, англичане, народ привычный, – продолжал старик, говоривший первым, – нам каждый вечер приходится спасать свою жизнь от этих дилижансов, мы и знаем, что на перекрестках надо держать ухо востро, не то от тебя только мокренько останется. Но каково бедняге-иностранцу, которому и невдомек, что ему грозит!

– Так этот человек – иностранец? – спросил Кленнэм, вытягивая шею, чтобы лучше видеть.

В ответ со всех сторон послышалось: «Француз, сэр!», «Португалец, сэр!», «Голландец, сэр!», «Пруссак, сэр!», и среди этих противоречивых утверждений Кленнэм с трудом расслышал слабый голос, то по-итальянски, то по-французски просивший пить. Однако его слова были истолкованы по-иному. «Ах, бедняга! – зашумели кругом, – он говорит, что ему уже не оправиться; да оно и немудрено». Тогда Кленнэм попросил пропустить его поближе к пострадавшему, сказав, что понимает его язык. Толпа тотчас же расступилась, и Кленнэм очутился у самых носилок.

– Прежде всего он просит пить, – сказал Кленнэм, оглянувшись. (Немедленно с десятков добровольцев бросились за водой.) – Вам очень больно, друг мой? – спросил он по-итальянски у человека, лежавшего на носилках.

– Да, синьор, очень, очень. Нога моя, ох, моя нога. Но как мне ни худо, я рад услышать звуки родной речи.

– Вы приезжий? Погодите, вот принесли воду. Дайте я напою вас.

Носилки были поставлены на кучу булыжника, возвышавшуюся у обочины мостовой. Слегка нагнувшись, Артур одной рукой приподнял голову лежавшего, а другой поднес стакан к его губам. Смуглый мускулистый человечек, черные волосы, очень белые зубы. Лицо живое, выразительное. Серьги в ушах.

– Вот и хорошо. А теперь скажите, вы приезжий?

– Да, синьор.

– И вы никого не знаете в этом городе?

– Ни одной живой души, синьор. Только сегодня и попал сюда, в недобрый час.

– А откуда?

– Марсель.

– Какое совпадение! Я тоже совсем недавно прибыл сюда из Марселя, и хоть я родился в Лондоне, чувствую себя здесь почти таким же чужим, как и вы. Не падайте духом. – Он обтер незнакомцу лоб, осторожно поправил куртку, которой было покрыто скорчившееся на носилках тело, и выпрямился, но, поймав обращенный на него умоляющий взгляд, поспешил прибавить: – Я не покину вас, пока вам не окажут необходимую помощь. Мужайтесь! Как-нибудь полчаса, и вы почувствуете себя гораздо лучше.

– О, altro, altro! – воскликнул бедняга с оттенком недоверия в голосе; и когда носилки снова подняли и понесли, он свесил правую руку вниз и покачал в воздухе указательным пальцем.

Артур Кленнэм шагал рядом с носилками, время от времени ободряя пострадавшего ласковым словом. Вскоре они дошли до больницы Св. Варфоломея, находившейся неподалеку, куда, однако, не впустили никого, кроме Кленнэма и людей, несших носилки. Пострадавшего деловито и хладнокровно уложили на стол, и его стал осматривать врач, явившийся молниеносно, как само Несчастье.

– Он почти не понимает по-английски, – сказал врачу Кленнэм. – Как по-вашему, тут что-нибудь опасное?

– А вот мы сначала посмотрим, – ответил врач, продолжая свое дело со вкусом и удовольствием, – а уж потом скажем.

Он щупал ногу одним пальцем и двумя пальцами, одной рукой и обеими руками, так и этак, сверху и снизу, вдоль и поперек, одобрительно кивая и делаясь особенно интересными наблюдениями с подросшим коллегой; потом наконец похлопал пациента по плечу и сказал:

– Ничего, починим. Будет как новенький. Придется повозиться, но на этот раз мы ему ногу оставим.

Кленнэм перевел эти слова пациенту, и тот в избытке благодарности принялся целовать руки и у переводчика и у врача.

– Все-таки дело, по-видимому, серьезное? – снова спросил Кленнэм.

– Да-а, – ответил врач мечтательным тоном художника, погруженного в созерцание своего еще не законченного шедевра. – Да, пожалуй. Сложный перелом бедра и вывих колена. Первоклассные случаи, и то и другое. – Он снова ласково похлопал пациента по плечу, как бы желая выразить свою признательность этому славному малому, сумевшему сломать ногу таким интересным для науки образом.

– Не говорит ли он по-французски? – спросил врач.

– По-французски говорит.

– А, ну тогда мы с ним столкнемся. Придется вам потерпеть немножко, друг мой, – обратился он к пациенту на этом языке, – но вы утешайтесь тем, что все идет как по маслу и скоро вы у нас сможете хоть в пляс пуститься. Ну-ка, взглянем, не найдется ли еще каких-нибудь непорядков и как наши ребра.

Но никаких непорядков больше не нашлось, и наши ребра были целы. Кленнэм оставался, покуда ловкие и умелые руки врача делали все, что возможно было сделать, – бедняга трогательно просил не покидать его, чувствуя себя одиноким и беспомощным среди чужих людей, в чужой стране; затем, когда больного перенесли на кровать, посидел у кровати, пока тот не забылся сном, и лишь тогда ушел из больницы, предварительно написав на своей карточке, что завтра придет снова, и попросив передать эту карточку больному, как только тот проснется.

Все эти события отняли так много времени, что, когда Артур Кленнэм вышел из больничных ворот, пробило уже одиннадцать часов. Квартира, которую он для себя временно нанял, находилась близ Ковент-Гардена; туда он и направился, выбрав самый короткий путь, через Сноу-Хилл и Холборн.

В нем уже успели улечься чувства тревоги и участия, разбуженные последним происшествием этого дня, и неудивительно, что, снова оставшись наедине с собой, он возвратился к своим раздумьям. Точно так же неудивительно, что не прошло и десяти минут, как эти раздумья привели его к воспоминанию о Флоре. А с нею невольно вспомнилась и вся его жизнь, незадавшаяся и обделенная счастьем.

Придя домой, он сел в кресло у догорающего огня, и, как в тот вечер, когда он глядел на лес закопченных труб, черневший за окном его старой комнаты, перед его мысленным взором потянулся весь безрадостный путь, который ему пришлось пройти. Долгий, унылый, пустынный путь. Ни детства, ни юности – если не считать одной короткой мечты; но сегодняшней вечер показал, что и эта мечта была призрачной.

Для другого это было бы пустяком, для него послужило тяжелым ударом. В самом деле, все, что по воспоминаниям рисовалось ему мрачным и гнетущим, на поверку таким и оказалось; память ни в чем его не обманула, ничего не прибавила к суровой правде прошлого, и эта правда была зримой и осязаемой в настоящем; лишь единственное светлое воспоминание не выдержало испытания и разлетелось в прах. Он это предчувствовал еще в тот первый вечер, размечтавшись наяву в своей старой комнате; но тогда это было только предчувствие, теперь же оно подтвердилось.

Его сделала мечтателем неискоренимая вера во все светлое и прекрасное, чего он был лишен в жизни. В доме, где царил расчет и корысть, эта вера помогла ему вырасти человеком благородным и щедрым. В доме, где не было места ласке и теплу, эта вера помогла ему сохранить доброе и отзывчивое сердце. В доме, где все было подчинено мрачной и дерзновенной религии, на место Бога, создавшего человека по образу и подобию своему, поставившей Бога, созданного человеком по его грешному образу и подобию, эта вера научила его не судить других, не ожесточаться в унижении, надеяться и сострадать ближнему.

И она же уберегла его от опасности стать одним из тех жалких нытиков и злобствующих себялюбцев, которые лишь потому, что их собственную узенькую тропку не пересекло ни разу истинное счастье или истинное добро, готовы утверждать, будто ничего такого и нет на божьем свете, а есть только видимость, скрывающая побуждения низкие и мелочные. Он испытал много разочарований, но дух его остался твердым и здоровым, и тлетворные мысли были ему чужды. Сам пребывая в темноте, он умел видеть свет и радоваться за других, кого этот свет озарял.

Вот и сейчас, сидя у догорающего огня, он с грустью вспоминал весь долгий путь, пройденный до этого вечера, однако не пытался отравить ядом зависти чужие пути. Но горько было сознавать в его годы, что в жизни так много не удалось и что не видно кругом никого, кто разделит бы и скрасил остаток его жизненной дороги. Огонь в камине уже не горел, только тускло рдели дотлевающие угли, потом от них остался лишь пепел, потом и пепел рассыпался серой пылью, а он все смотрел и думал: «Вот скоро и я пройду все положенные перемены и перестану существовать».

Перебирая в памяти свою жизнь, он как будто шел издалека к зеленому дереву, которое увядало по мере его приближения – осыпался цвет, облетала листва, а потом и ветки, засыхая, обламывались одна за другой.

«Безрадостное, унылое детство, печальная юность в холодном и неприятном доме, долгие годы на чужбине, возвращение, встреча с матерью, тоже не принесшая ни тепла, ни радости, а теперь еще сегодняшнее злосчастное свидание с Флорой – к чему все это привело меня? Что у меня есть в жизни?»

Дверь тихонько отворилась, и, вздрогнув от неожиданности, он услышал два слова, прозвучавшие словно в ответ:

– Крошка Доррит.

Глава XIV

Бал Крошки Доррит

Артур Кленнэм вскочил на ноги и увидел в дверях знакомую фигурку. Рассказывающий эту историю должен порой смотреть глазами Крошки Доррит, что он и попытается сейчас сделать.

Комната, на пороге которой стояла Крошка Доррит, показалась ей просторной и роскошно обставленной. Знаменитые ковент-гарденские кофейни, где джентльмены в шитых золотом кафтанах и при шпагах затевали ссоры и дрались на дуэлях; живописный ковент-гарденский рынок, где зимой продавались цветы по гинее за штуку, ананасы по гинее за фунт и зеленый горошек по гинее за чашку; великолепный ковент-гарденский театр, где разодетые дамы и кавалеры смотрели увлекательные представления, какие и не снились бедной Фанни и бедному дядюшке; мрачные ковент-гарденские аркады, где оборванные ребятишки жались друг к другу, чтобы согреться, швыряли точно крысы в поисках отбросов и точно крысы разбегались от погони (бойтесь крыс, уважаемые Полипы, бойтесь крыс, молодых и старых, ибо, видит бог, они подгрызают фундамент здания, в котором мы живем, и рано или поздно оно обрушится нам на голову!); Ковент-Гарден, где тайны минувших дней соседствуют с тайнами нового времени, романтика с житейскими буднями, изобилие с нуждой, красота с безобразием, аромат цветников со зловонием сточных канав, – все эти пестрые видения роились в голове Крошки Доррит, затуманивая вид и без того полутемной комнаты, куда она робко заглядывала с порога.

Однако она сразу увидела того, кого искала, – человека с печальным загорелым лицом, который улыбался так ласково, говорил так сердечно и деликатно и все же своей прямой манерой обращения напоминал ей миссис Кленнэм, только у матери прямота шла от суровости, а у сына от благородства души. Когда она вошла, он сидел в кресле перед потухшим камином, но, услышав ее голос, оглянулся и встал, и теперь смотрел на нее тем пытливым, внимательным взглядом, перед которым она всегда опускала глаза – опустила и теперь.

– Мое бедное дитя! Вы здесь, в такой час!

– Я знала, что вы будете удивлены, сэр. Я потому нарочно и сказала: «Крошка Доррит», чтобы предупредить вас.

– Вы одна?

– Нет, сэр; со мной Мэгги.

Услышав свое имя, Мэгги сочла, что ее появление достаточно подготовлено, и ступила на порог, растянув рот до ушей в приветственной улыбке. Впрочем, она тотчас же согнала с лица этот знак веселья и приняла торжественно сосредоточенный вид.

– А у меня уже погас огонь в камине, – сказал Кленнэм, – а вы так... – Он хотел сказать «так легко одеты», но спохватился, что это было бы намеком на ее бедность, и сказал: – А вечер такой холодный.

Он усадил ее в свое кресло, придвинув его поближе к камину, потом принес дров, угля и развел огонь.

– У вас ноги совсем ледяные, дитя мое (стоя на коленях и возясь с дровами, он нечаянно коснулся ее ноги), протяните их к огню. – Но Крошка Доррит торопливо поблагодарила и стала уверять, что ей тепло, очень тепло! У Кленнэма сжалось сердце: он понял, что она не хочет показывать свои худые, стоптанные башмаки.

Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных башмаков. Кленнэм знал о ней все, и ей не приходилось перед ним стыдиться. Крошку Доррит беспокоило другое: не осудил бы он ее отца, увидя, в каких она башмаках, не подумал бы: «Как может он спокойно есть свой обед в то время, как это маленькое существо чуть не босиком ходит по холодному камню!» Не то

чтобы ей самой казался справедливым этот упрек; просто она по опыту знала, что подобные нелепые мысли иногда приходят людям в голову – к несчастью для ее отца!

– Прежде всего, – начала Крошка Доррит, греясь у бледного пламени камина и снова подняв глаза на того, чье живое участие, сострадание и покровительство казалось ей непонятной загадкой, – прежде всего мне хотелось сказать вам кое-что.

– Я вас слушаю, дитя мое.

Легкая тень прошла по ее лицу; ее огорчало, что он обращается к ней как к ребенку. Она не ожидала, что он подметит это, но, к ее удивлению, он тотчас же сказал:

– Я искал ласкового обращения и ничего другого не придумал. Вы сами только что назвали себя именем, которым вас зовут в доме у моей матери; позвольте же и мне называть вас так, тем более что в мыслях я всегда употребляю это имя: Крошка Доррит.

– Благодарю вас, сэр; это имя мне очень нравится.

– Крошка Доррит.

– Никакая не Крошка, а маменька, – наставительно поправила Мэгги, уже совсем было задремавшая.

– Это одно и то же, Мэгги, – успокоила ее Крошка Доррит, – одно и то же.

– Совсем одно и то же, маменька?

– Да, да, совсем.

Мэгги рассмеялась и тотчас же захрапела. Но для Крошки Доррит в этой нелепой фигуре и в этих вульгарных звуках не было ничего безобразного. Маленькая маменька даже как будто гордилась своим неуклюжим ребенком, и глаза ее сияли, когда она вновь посмотрела в печальное, загорелое лицо того, к кому пришла. Ей было любопытно, какие мысли приходят ему в голову, когда он смотрит на нее и на Мэгги. Она думала о том, как счастлива была бы дочь человека, у которого такое лицо, каким бы он был заботливым, любящим отцом.

– Я хотела сказать вам, сэр, – снова начала Крошка Доррит, – что мой брат выпущен на свободу.

Аргур был очень рад это слышать и выразил надежду, что теперь все у него пойдет хорошо.

– И еще я хотела сказать вам, сэр, – продолжала Крошка Доррит, с дрожью в голосе и во всем своем маленьком теле, – что мне запрещено знать, кому он обязан своей свободой, запрещено спрашивать об этом, запрещено догадываться, запрещено высказать этому великодушному человеку, как безгранично я ему благодарна!

Ему, верно, не требуется благодарности, заметил Кленнэм. Он, может быть, сам (и с полным основанием) благодарит судьбу, что она дала ему случай и средство оказать маленькую услугу той, которая заслуживает гораздо большего.

– И еще я хочу сказать, сэр, – продолжала Крошка Доррит, дрожа все сильнее и сильнее, – что, если бы я знала его и могла говорить, я бы сказала ему, что никогда, никогда он не сможет представить себе, как глубоко я тронута его добротой и как был бы тронут ею мой добрый отец. И еще я хочу сказать, сэр, что, если бы я знала его и могла говорить – но я его не знаю, и я помню, что должна молчать! – я бы сказала ему, что до конца моей жизни я буду каждый вечер молиться за него. И если бы я знала его, если бы я могла, я стала бы перед ним на колени, и целовала бы ему руку, и умоляла бы не отнимать ее – хоть одно мгновение! – чтобы я могла пролить на нее слезы благодарности, потому что больше мне нечем его отблагодарить!

Крошка Доррит прижалась губами к его руке и хотела было опуститься на колени, но он мягко удержал ее и усадил снова в кресло. Ее взгляд, ее взволнованный голос были для него самой лучшей благодарностью, хоть она не догадывалась об этом. С трудом преодолевая собственное волнение, он сказал:

– Ну, полно, полно, Крошка Доррит! Будем считать, что вы узнали, кто этот человек, и что вы все это имели возможность исполнить и даже исполнили. И теперь забудьте об этом

человеке и расскажите мне – не ему, а мне, вашему другу, которым вы всегда можете располагать, – почему вы бродите по улицам в такой поздний час и что завело вас чуть не в полночь так далеко от дома, мое милое... – «дитя», чуть было не сорвалось опять у него с языка, – моя милая маленькая Крошка Доррит?

– Мы с Мэгги нынче были в театре, – сказала она, привычным усилием справившись со своими чувствами, – в театре, где у моей сестры ангажемент.

– Ой, до чего же там хорошо! – неожиданно отозвалась Мэгги, видимо обладавшая способностью засыпать и просыпаться в любую минуту по своему усмотрению. – Не хуже, чем в больнице. Только что курятины не дают.

Она слегка поежилась и снова заснула.

– Мне иногда хочется своими глазами взглянуть, как идут дела у сестры, вот мы туда и отправились, – пояснила Крошка Доррит. – Люблю иногда посмотреть на нее издали, так, чтобы ни она, ни дядя не знали. Правда, мне это редко удается, ведь если я не уйду на работу, так сижу с отцом, а если и уйду, так всегда спешу к нему вернуться. Но сегодня я ему сказала, что иду на бал.

Робко и нерешительно произнеся это признание, она снова подняла глаза на Кленнэма и так ясно прочитала на его лице вопрос, что поторопилась ответить:

– О нет, что вы! Я ни разу в жизни не была на балу.

И, немного помедлив под его внимательным взглядом, добавила:

– Я надеюсь, что тут нет большого греха. Приходится иной раз выдумывать немножко, ради их же пользы.

Она боялась, что он мысленно осуждает ее за эти уловки, помогающие ей заботиться о своих родных, думать о них, оберегать их без их ведома и благодарности, быть может, даже навлекая на себя упреки в недостатке внимания. Но у Кленнэма в мыслях было совсем другое – он думал о необыкновенной силе духа, сокрытой в этой слабенькой девушке, об ее стоптанных башмаках и поношенном платьице, об ее несуществующих, выдуманных развлечениях. Где же этот бал, куда она будто бы отправилась, спросил он. В одном доме, где ей часто случается работать, отвечала, покраснев, Крошка Доррит. Она не стала путаться в подробностях перед отцом; просто сказала в двух словах, чтобы он не беспокоился. Отец не должен был думать, что речь идет о каком-то настоящем великосветском бале – да ему это вряд ли и пришло бы в голову. Она покосилась на свою плохонькую шаль.

– Мне еще никогда не случалось уходить из дому на всю ночь, – сказала Крошка Доррит. – Лондон кажется таким большим, таким чужим, таким пустынным.

Крошка Доррит вздрогнула, говоря эти слова; огромный город, раскинувшийся под черным небом, пугал ее.

– Но я не потому решила беспокоить вас, сэр, – продолжала она, снова овладев собою. – Моя сестра свела знакомство с какой-то дамой, и ее рассказы об этом знакомстве встревожили меня, вот я и отправилась сегодня в театр. А проходя мимо вашего дома, я увидела свет в окне, и...

Не в первый раз. Нет, не в первый раз. Уже много вечеров свет в этом окне, точно далекая звездочка, манил Крошку Доррит. И нередко, усталая и измученная, она возвращалась в Маршалси кружным путем, чтоб только пройти мимо дома, где жил вернувшийся из дальних стран человек с печальным, загорелым лицом, который говорил с ней как друг и покровитель.

– И вот я надумала подняться к вам, чтобы поговорить о трех вещах, о которых мне очень нужно вам сказать. Первое, это то, что я уже пыталась, но не могу... не должна...

– Тсс, тсс! Мы ведь уже уговорились, что с этим покончено. Перейдем ко второму, – сказал Кленнэм, успокаивая ее ласковой улыбкой. Он помешал в камине, чтобы пламя разгорелось ярче, и поставил на столик перед ней вино, пирожное и фрукты.

– Второе вот что, сэр, – сказала Крошка Доррит, – мне кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну – узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Иначе говоря, – где я живу.

– Вот как? – живо откликнулся Кленнэм и, немного помолчав, спросил, почему она так думает.

– Мне кажется, мистер Флинтвинч выследил меня, – сказала Крошка Доррит.

Кленнэм помолчал еще немного, сдвинув брови и глядя в огонь; потом снова спросил: а почему она так думает?

– Я два раза повстречала его. Оба раза недалеко от дома. Оба раза вечером, когда возвращалась с работы. Оба раза у него был такой вид, что мне эта встреча показалась не случайной – хоть, может быть, я и ошибаюсь.

– Он вам что-нибудь говорил?

– Нет, только кивнул и прошел мимо, склонив голову набок.

– Черт бы его побрал с его головой, – задумчиво пробормотал Кленнэм, не отводя глаз от огня, – она у него всегда набок.

Опомнившись, он стал уговаривать ее выпить вина, съесть хоть кусочек чего-нибудь – трудная задача, принимая во внимание ее робость и застенчивость, – потом спросил прежним задумчивым тоном:

– А моя мать не переменялась к вам?

– О нет, ничуть. Она такая же, как всегда. Но я подумала, может быть, рассказать ей всю свою историю. Я подумала, может быть, вы сочли бы это правильным. Я подумала, – Крошка Доррит умоляюще вскинула на него глаза и тотчас же снова опустила их, встретив его взгляд, – может быть, вы посоветуете, что мне делать.

– Крошка Доррит, – сказал Кленнэм; это имя, смотря по тому, как и когда оно произносилось, уже начинало служить им обоим заменой множества ласковых имен, – не делайте ровно ничего. Я попробую поговорить с моим старым другом, миссис Эффери. Ничего не нужно делать, Крошка Доррит, разве только подкрепить сейчас свои силы тем, что стоит на столе. Вот об этом я вас прошу от всей души.

– Благодарю вас, но мне, право же, совсем не хочется есть. И пить тоже не хочется, – добавила Крошка Доррит, заметив, что он тихонько подвинул к ней стакан. – Вот, может быть, Мэгги...

– Непременно, – сказал Кленнэм. – И я надеюсь, что у нее в карманах найдется место для всего, что она не успеет съесть здесь. Но прежде чем мы ее разбудим – ведь вы собирались сказать мне еще что-то, третье?

– Да. Только вы не обидитесь, сэр?

– Обещаю, о чем бы ни шла речь.

– Вам, верно, это покажется странным. Не знаю, как и сказать. Только не сочтите это прихотью или неблагодарностью с моей стороны, – говорила Крошка Доррит, снова невольно поддаваясь волнению.

– Нет, нет, нет. Я заранее уверен, что все, что вы скажете, будет разумным и справедливым. И я ничуть не опасюсь неверно истолковать ваши слова.

– Благодарю вас, сэр. Вы решили еще раз навестить моего отца?

– Да.

– И вы собираетесь сделать это завтра – по крайней мере вы были так добры и внимательны, что предупредили его об этом запиской.

– Да – но стоит ли говорить о таких пустяках!

– Так вот, я хочу просить вас не делать кое-чего, – сказала Крошка Доррит, крепко сжав свои маленькие ручки и устремив на него взгляд, в который она вложила, казалось, всю свою душу. – Вы не догадываетесь, чего именно?

– Пожалуй, догадываюсь. Но я могу и ошибаться.

– Нет, вы не ошибаетесь, – сказала Крошка Доррит, покачав головой. – Если нам будет так трудно, так трудно, что мы не сможем без этого обойтись, тогда я сама попрошу у вас, хорошо?

– Хорошо. Пусть будет по-вашему.

– Не поощряйте его. А если он станет просить, делайте вид, что вы не понимаете просьб. И не давайте ему ничего. Пощадите его, избавьте от этого унижения, и вам тогда легче будет его уважать.

Слезы заблестели в ее полных тревоги глазах, и Кленнэм дрогнувшим голосом поспешил ответить, что ее желание для него священо.

– Вы ведь его не знаете по-настоящему, – сказала она. – Не знаете и не можете знать. Вы только видите, до чего он дошел, бедный мой, дорогой мой отец, но вы не видели всего, что его довело до этого. А я видела и знаю! И оттого, что вы были так добры к нам, отнеслись с таким чутким участием, мне особенно хочется, чтобы вы думали о нем лучше. Для меня нестерпима мысль, – вскричала Крошка Доррит, закрыв лицо руками, – для меня нестерпима мысль, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения!

– Ну, не надо так убиваться, – сказал Кленнэм. – Право, не надо, Крошка Доррит. Я все понял, уверяю вас.

– Благодарю вас, сэр. Благодарю! Я всячески старалась избежать этого разговора, день и ночь думала, как мне быть; но, когда я узнала, что вы обещались прийти к нам завтра, я решила. Только это не потому, чтобы я стыдилась своего отца, – она быстро вытерла слезы, – а потому, что я знаю его, как никто не знает, и люблю его и горжусь им.

Высказав то, что камнем лежало у нее на душе, Крошка Доррит заторопилась уходить. У Мэгги сна уже как не бывало; она пожирала глазами пирожное и фрукты, ухмыляясь в приятном ожидании. Кленнэм, желая отвлечь Крошку Доррит от печальных мыслей, налил ее подопечной стакан вина, который та немедленно выпила, причем после каждого глотка громко причмокивала, поглаживая себя по горлу, и приговаривала замирающим голосом, закатив глаза под самый лоб: «Ох, и вкусно! Ну прямо как в больнице!» Когда же с вином и с восторгами было покончено, он просил ее сложить все угощение в свою корзинку (Мэгги никогда не выходила без корзинки) да позаботиться, чтобы на столе ничего не осталось. Радость, с которой Мэгги бросилась исполнять его просьбу, и радость маленькой маменьки при виде радости Мэгги убедили Кленнэма, что лучшего завершения разговора и придумать нельзя было.

– Но ведь ворота уже давным-давно заперты, – вдруг спохватился Кленнэм. – Куда же вы пойдете?

– Я буду ночевать у Мэгги, – ответила Крошка Доррит. – Мне там будет очень хорошо и покойно.

– В таком случае я провожу вас, – сказал Кленнэм. – Я не могу отпустить вас одних в такой час.

– Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, – взмолилась Крошка Доррит. – Я вас очень, очень прошу!

Она просила так убедительно, что Кленнэм счел неделикатным настаивать – тем более что ему нетрудно было представить себе убогое жильё Мэгги.

– Пойдем, Мэгги, – весело сказала Крошка Доррит, – мы отлично дойдем одни; дорогу мы знаем, верно, Мэгги?

– Верно, маменька, дорогу мы знаем, – прыснув со смеху, сказала Мэгги.

И они ушли; но прежде чем переступить порог, Крошка Доррит оглянулась и сказала: «Благослови вас Бог!» Она сказала это совсем тихо, но как знать! – быть может, там, в вышине, ее слова были слышны не хуже, чем если б их пропел целый соборный хор.

Артур Кленнэм выждал, покуда они завернут за угол, и незаметно последовал за ними. У него не было намерения навязывать свое присутствие Крошке Доррит там, где оно оказалось бы нежеланным, но он хотел убедиться, что она благополучно добралась до знакомого квартала.

Такой крохотной, такой хрупкой и беззащитной в сырой холодной мгле казалась ее фигурка, полускрытая колышущейся тенью ее подопечной, что Кленнэму, который привык смотреть на нее как на ребенка, захотелось взять ее на руки и понести.

Но вот они вышли на широкую улицу, в конце которой находилась тюрьма Маршалси, и Кленнэм увидел, как они слегка замедлили шаг, а потом свернули в переулок. Он остановился, чувствуя себя не вправе идти дальше, и, постояв немного, нерешительно повернул назад. Ему и в голову не приходило, что им грозит опасность всю ночь провести на улице; и лишь много, много времени спустя он узнал правду.

Убогий домишко, к которому они подошли, был весь погружен в темноту, и ни звука не доносилось из-за запертой двери. Тогда Крошка Доррит сказала своей подопечной:

– Мэгги, тебе на этой квартире живет хорошо, и поэтому не следует вызывать неудовольствие хозяев. Постучимся тихонько раз и другой; а если нам не отворят, придется ждать до утра.

Крошка Доррит осторожно постучала в дверь и прислушалась. Еще раз осторожно постучала в дверь и еще раз прислушалась. Все было тихо.

– Ничего не поделаешь, милая Мэгги. Запасемся терпением и будем ждать утра.

Ночь была сырая и темная, холодный ветер пронизывал до костей, и когда они вновь очутились на улице, которая вела к Маршалси, где-то рядом часы пробили половину второго.

– Еще каких-нибудь пять с половиной часов, – сказала Крошка Доррит, – и можно будет идти домой. – Заговорив о доме, который находился так близко, естественно было пойти взглянуть на него. Они подошли к запертым воротам тюрьмы и заглянули сквозь решетку в наружный дворик. – Надеюсь, отец мирно спит и не тревожится обо мне, – сказала Крошка Доррит, целуя холодное железо.

От ворот, таких привычных и знакомых, словно веяло дружеским теплом. Они поставили в уголок корзинку Мэгги и уселись на нее, тесно прижавшись друг к другу. Тишина и безлюдье ночной улицы не пугали Крошку Доррит, но стоило ей слышать в отдалении чьи-то шаги или увидеть, как чья-то тень метнулась от фонаря к фонарю, она вздрагивала и шептала: «Мэгги, кто-то идет. Пойдем отсюда!» – И Мэгги просыпалась, недовольно сопя, и они уходили в сторону от тюрьмы, но, когда все стихало, опять возвращались на прежнее место.

Вначале Мэгги, увлеченная едой, держалась довольно бодро. Но мало-помалу это занятие потеряло для нее прелесть новизны, и тогда она начала хныкать и жаловаться на холод.

– Потерпи, моя хорошая, уже немного осталось, – ласково уговаривала ее Крошка Доррит.

– Да, вам-то легко, маменька, – возражала Мэгги, – а каково мне, бедненькой, ведь мне всего десять лет.

Наконец, когда все кругом вовсе уж стихло, Крошке Доррит удалось убаюкать свою подопечную, положив ее большую безобразную голову к себе на грудь. Так и сидела она в этот глухой ночной час, все равно что одна, у тюремной решетки, сидела и смотрела на небо, где в бешеном хороводе неслись среди звезд облака – это и были танцы на балу Крошки Доррит.

«А хорошо бы в самом деле быть сейчас на балу! – мелькнуло вдруг у нее в мыслях. – Чтобы вокруг было светло, и тепло, и красиво, и чтобы бал происходил у нас, в нашем доме, и мой отец, бедный дорогой отец мой был бы хозяином этого дома, а никакой тюрьмы Маршалси и не знавал бы никогда. И чтобы мистер Кленнэм тоже там был, и мы бы с ним танцевали под чудесную музыку, и у всех было бы так легко и весело на душе. Хотелось бы мне знать...» Много чего хотелось бы знать Крошке Доррит, и, глядя на звезды, она забылась в мечтах, но вскоре ее вернуло к действительности хныканье проснувшейся Мэгги, которая озябла и хотела согреться на ходу.

Три часа, половина четвертого, а они все ходили и ходили. Они миновали Лондонский мост, слушали, как плещется вода, набегая на его устои, со страхом вглядывались в туман испа-

рений, клубившийся над поверхностью реки, и там, где на воду ложились отсветы мостовых фонарей, видели мерцающие блики, точно дьявольские очи, привораживающие грех и нищету. Они убегали от пьяных. Обходили бездомных, приютившихся на ночлег в темных закоулках. Испуганно шарахались в сторону при виде ночных бродяг, которые шныряли по примолкшим улицам, с громким свистом перекликаясь на перекрестках, или же со всех ног удирали от кого-то. Вот когда пригодилась Крошке Доррит ее детская наружность – со стороны казалось, будто Мэгги ведет ее за собой, хотя на самом деле это она и вела и ободряла свою спутницу. Не раз во встречной гурьбе гуляк или подозрительных оборванцев слышался возглас: «Эй, дайте пройти женщине с ребенком».

И женщина с ребенком проходили и шли дальше, и вот уже где-то на колокольне пробило пять часов. Они теперь брели к востоку, всматриваясь, не покажется ли в небе первая бледная полоска рассвета, – как вдруг какая-то женская фигура загородила им дорогу.

– Что ты тут делаешь с ребенком? – спросила женщина у Мэгги.

Говорившая была молода – слишком молода, видит бог, чтобы одной бродить по улицам в такой час! – и лицо ее не было ни безобразным, ни злым. Слова ее прозвучали грубо, но голос вовсе не был груб от природы, напротив, в нем слышались мелодичные нотки.

– А вы что тут делаете? – в свою очередь спросила Мэгги, ничего лучшего не придумав для ответа.

– А ты сама не догадываешься?

– Нет, не догадываюсь, – сказала Мэгги.

– Гублю себя. Вот тебе ответ на твой вопрос, а теперь отвечай на мой. Что ты тут делаешь с ребенком?

Та, кого она приняла за ребенка, не поднимая головы, жалась к Мэгги.

– Бедняжка! – сказала женщина. – Сердца у тебя, что ли, нет, что ты ее таскаешь ночью по улице в этакую стужу? Глаз, что ли, нет, что ты не видишь, какая она худенькая и слабенькая? Ума, что ли, нет (впрочем, на то похоже), что ты не замечаешь, как дрожит ее озябшая ручонка. – Она шагнула ближе и, взяв руку Крошки Доррит, принялась растирать ее своими ладонями. – Поцелуй несчастную грешницу, милочка, – добавила она, склонив голову, – и скажи, куда эта женщина ведет тебя.

Крошка Доррит подняла лицо к говорившей.

– Боже правый! – воскликнула та, попятившись. – Да это взрослая девушка!

– Не смущайтесь тем, что я не ребенок! – возразила Крошка Доррит, удерживая разжавшиеся руки незнакомки. – Я все равно ничуть не боюсь вас.

– Напрасно! – был сумрачный ответ. – У вас нет матери?

– Нет.

– И отца тоже нет?

– Отец есть, и я горячо люблю его.

– Так возвращайтесь же в отчий дом и бойтесь таких, как я. Пустите, мне недосуг. Прощайте!

– Я прежде хочу поблагодарить вас. Позвольте мне говорить с вами так, как если б я и в самом деле была ребенком.

– Увы, это невозможно, – сказала женщина. – У вас чистая душа и доброе сердце, но вы не можете смотреть на меня детскими глазами. Я никогда не осмелилась бы прикоснуться к вам, если бы не думала, что передо мною ребенок.

Надрывный, болезненный стон вырвался из ее груди, и она исчезла.

Еще в небе не занималась утренняя заря, но утро уже наступило. Оно звонко перекатывалось по камням мостовой, скрипело колесами подвод, экипажей, фургонов, хлопало ставнями отпирающихся лавок, спешило в толпе рабочего люда на фабрики и в мастерские, шумело на

рыночных площадях, суетилось у берега реки. Уже по-утреннему тускнели и меркли огни, по-утреннему крепчал холод, и ночь, обессиленная, умирала.

Крошка Доррит со своей спутницей повернула назад, к тюрьме, решив дожидаться там, когда отопрут ворота, но стоять на сыром ветру было холодно, и, взяв за руку Мэгги, которая спала на ходу, Крошка Доррит повела ее дальше. Проходя мимо церкви, она увидела в полуотворенной двери свет и решилась заглянуть.

Какой-то тучный старик стоял посреди церкви и надевал на голову ночной колпак, словно собираясь лечь спать в одном из склепов.

– Что нужно? – крикнул он, оглядываясь на дверь.

– Ничего, сэр, – ответила Крошка Доррит, отступив назад.

– Эй! – крикнул старик. – А ну покажись, кто там!

Услышав это, Крошка Доррит, уже спускавшаяся со ступенек, вернулась и вместе со своей подопечной перешагнула порог церкви.

– Так и есть! – сказал старик. – Я ведь вас знаю.

– И я вас знаю, сэр, – ответила Крошка Доррит, узнав старика, который был не то причетником, не то пономарем, не то церковным сторожем. – Мы видимся с вами всякий раз, когда я прихожу в церковь.

– Ну, разумеется, – ведь ваше рождение записано в метрической книге нашего прихода; мало того – вы одна из наших местных достопримечательностей.

– Неужели? – сказала Крошка Доррит.

– А как же! Вы ведь дитя Ма... кстати, каким образом вы так рано очутились на улице?

– Мы вчера опоздали и теперь дожидаемся, когда откроют ворота.

– Слыханное ли дело! Да вам еще добрый час дожидаться! Идемте-ка в ризницу. Там есть огонь, я развел его в ожидании маляров. Кабы не эти маляры, вы бы меня не застали здесь в такой час, можете быть уверены. Ну идемте, идемте. Мы не допустим, чтобы одна из наших достопримечательностей мерзла, когда в наших силах приютить и обогреть ее.

Он был добрейший старик, этот причетник или пономарь, несмотря на свою воркотню. Помешав в печке, он принялся рыться на полках, уставленных приходскими книгами.

– Вот тут мы вас сейчас и разыщем, – сказал он, достав толстый том и листая его страницы. – Ага, вот, пожалуйста, черным по белому: «Эми, дочь Уильяма и Фанни Доррит. Родилась в тюрьме Маршалси, приход Св. Георгия». А когда мы кому-нибудь показываем эту запись, то всегда прибавляем: «И с тех пор живет там, не отлучаясь ни на один день, ни на одну ночь». Верно это?

– Было верно, до вчерашнего вечера.

– Боже ты мой! – Он взглянул на нее с восхищением, но при этом, должно быть, заметил нечто, придавшее его мыслям другой ход. – Какая же вы усталая да бледная, даже смотреть жалко. Вам надо отдохнуть. Пойду принесу несколько подушек с церковных скамей, и вы с вашей подружкой приляжете у огня. Не бойтесь, домой поспеете вовремя. Я разбужу вас, когда откроют ворота.

Он принес подушки и разложил их на полу.

– Ну вот, располагайтесь. Со всеми, можно сказать, удобствами. Нет, нет, пожалуйста, не благодарите. У меня у самого есть дочери. Правда, они не родились в тюрьме, но это легко могло случиться, если бы их отец похож был на вашего. Погодите-ка. Изголовье у вас слишком низко, что бы такое подложить под подушку? А, вот книга погребений, как раз то, что требуется! Здесь у нас записана миссис Бэнгем. Впрочем, когда люди смотрят на такие книги, их обычно интересует не кто в них записан, а кто в них еще не записан. Когда чья, можно сказать, очередь придет – вот самый интересный вопрос.

Он окинул одобрительным взглядом сооруженное ложе и удалился, пожелав им приятного отдыха. Мэгги уже храпела вовсю; вскоре и Крошка Доррит крепко заснула, положив

голову на книгу Судьбы, и тайна, которую скрывали незаполненные листы этой книги, не тревожила ее сна.

Таковы были развлечения на балу Крошки Доррит. Зрелище позора, нищеты, бесприютности, безобразная изнанка жизни великой столицы; сырость, холод, быстрый бег облаков в небе и томительная медлительность мрачных ночных часов. Таковы были развлечения на балу, с которого Крошка Доррит вернулась, усталая и измученная, в сером туманном свете дождливого утра.

Глава XV

Миссис Флинтвинч снова видит сон

Старый, одетый мантией копоты дом, что стоял на одной из улиц Сити, тяжело опираясь на костыли, вместе с ним обветшавшие и источенные временем, не знал никаких утех в своем унылом существовании калеки. Если солнце порой освещало его, то лишь одним косым лучом, и то не больше чем на полчаса; если озаряла его луна, то в заплатах лунного света его траурная одежда казалась еще печальнее; а звезды, те уж, понятное дело, смотрели на него холодным взглядом, когда ночь была ясная и дым не застилал неба. Зато всякая непогода держалась за него с редким постоянством. Дождь, град, мороз, слякоть продолжались здесь, когда в других местах о них и думать забыли; что же касается снега, то он лежал здесь неделями, успев уже из желтого сделаться черным, и, медленно исходя грязными слезами, доживал свою неприглядную жизнь. Других завсегдатаев не было у этого дома. Уличный шум почти не проникал в его стены, стук колес проезжавшего мимо экипажа врывался туда лишь на мгновение, и от этого у миссис Эффери постоянно было такое чувство, будто у нее заложило уши и слух возвращается к ней только урывками и ненадолго. Так же было и с голосами прохожих, с пением, свистом, смехом, со всеми звуками жизненного веселья. Они на короткий миг будоражили тишину и тотчас же пролетали дальше.

Пламя свечи и пламя камина поочередно освещали комнату миссис Кленнэм, и только эта смена огней нарушала царившее там мертвенное однообразие. Весь день и всю ночь в двух длинных, узких окнах горел неяркий, мрачноватый свет. Случалось, что он вдруг яростно вспыхивал, как то бывало и с ней самой; но чаще мерцал уныло и ровно, медленно, как и она, пожирая самоё себя. Однако в короткие зимние дни, когда вскоре после полудня начинало смеркаться, на стене противоположного дома возникали искаженные тени самой миссис Кленнэм, мистера Флинтвинча с его скривленной шеей, миссис Эффери, которая то появлялась, то исчезала. Они двигались по стене, дрожа и колеблясь, словно изображения в гигантском волшебном фонаре. Когда больная укладывалась в постель, тени одна за другой пропадали – исполинская тень миссис Эффери всегда мелькала на стене дольше других, но наконец тоже исчезала в воздухе, как будто она отправилась на шабаш ведьм. И только свеча одиноко горела в окне, постепенно бледнея с приближением утра, пока ее не задувала миссис Эффери, чья тень появлялась к этому времени вновь, словно воротясь с шабаша.

А может быть, слабый огонек этой свечи служил маяком кому-то, кто неожиданно-негаданно должен был явиться сюда по зову судьбы? Может быть, слабый огонек этой свечи был сторожевым огнем, которому суждено было зажигаться в комнате больной каждую ночь, до тех пор, пока не произойдет назначенное от века событие? Кто же из несметного множества путников, что странствуют при солнце и при звездах, на суше и на море, взбираются на крутые горы и устало бредут по бескрайным равнинам, сходятся и расходятся в прихотливом скрещении дорог, непостижимо влияя порой на свои и чужие судьбы, – кто из них, сам не зная об истинной цели своих странствий, медленно, но верно приближался в то время к дому, где горел этот путеводный огонь?

Время покажет нам. Почетное возвышение и позорный столб, эполеты генерала и палочки барабанщика, памятник в Вестминстерском аббатстве и зашитый мешок, спущенный за борт судна, митра и работный дом, кресло лорд-канцлера и виселица, трон и гильотина – любой жребий может ожидать того, кто сейчас в пути на большой дороге жизни; но у этой дороги есть неожиданные повороты, и только Время покажет нам, куда она приведет того или иного путника.

Однажды в зимние сумерки супруге мистера Флинтвинча, которую весь день одолевала дремота, привиделся сон.

Снилось ей, будто она грела на кухне воду для чайника, а заодно сама уселась погреться у очага, подоткнув подол юбки и поставив ноги на решетку, где меж двух холодных черных провалов догорали остатки огня. И будто в то время, когда она так сидела, размышляя о том, что для иных людей жизнь – довольно невеселая выдумка, ее вдруг испугали какие-то звуки, послышавшиеся за ее спиной. И будто это случилось не первый раз – точно такие же звуки испугали ее однажды на прошлой неделе, загадочные, непонятные звуки, сперва тихий шорох, а потом топ-топ-топ, словно чьи-то быстрые шаги; и сразу у нее так и захолонуло сердце, как если б от этих шагов пол затрясся под ногами или чья-то ледяная рука протянулась и схватила ее. И будто тут ожили все ее старые страхи насчет того, что в доме нечисто, и она опрометью бросилась по лестнице наверх, сама не зная куда, лишь бы поближе к людям.

Снилось ей дальше, будто, очутившись в сенях, она увидела, что дверь в контору ее супруга и повелителя распахнута настежь и что там никого нет. Во сне она подошла к узкому, точно прореха, окошку маленькой комнатки по соседству с наружной дверью, чтобы хоть через стекло почувствовать бьющимся сердцем близость живых существ, непричастных к этому населенному привидениями дому. Во сне она увидела на противоположной стене тени обоих умников, судя по всему, занятых оживленной беседой. Во сне она сняла башмаки и на цыпочках поднялась наверх, то ли чтоб быть поближе к этим двоим, которым и нечистая сила не страшна, то ли чтоб услышать, о чем идет у них речь.

– Вы свои фокусы оставьте, – говорил мистер Флинтвинч. – Я это терпеть не намерен.

Миссис Флинтвинч снилось, будто она стояла за полуотворенной дверью и совершенно отчетливо слышала, как ее муж произнес эти дерзкие слова.

– Флинтвинч, – отвечала миссис Кленнэм своим обычным, глухим, но властным голосом. – В вас вселился демон гнева. Не поддавайтесь ему.

– А хоть бы даже и не один, а целая дюжина демонов, – возразил мистер Флинтвинч, тон которого неопровержимо доказывал, что последнее предположение ближе к истине. – Хоть бы даже полсотни, все они вам скажут то же самое: вы свои фокусы оставьте, я это терпеть не намерен. А не скажут, так я их заставлю.

– Да что я такого сделала, злобный вы человек? – спросил властный голос.

– Что сделали? – переспросил мистер Флинтвинч. – Набросились на меня, вот что.

– Если вы хотите сказать, что я упрекнула вас...

– Я хочу сказать именно то, что говорю, – возразил Иеремия, с непреодолимым и непонятным упорством держась за свое фигуральное выражение. – Сказано ясно: набросились на меня!

– Я упрекнула вас, – начала она снова, – потому, что...

– Не желаю слушать! – закричал Иеремия. – Вы набросились на меня.

– Хорошо, сварливый вы человек, я набросилась на вас (Иеремия злорадно хихикнул, услышав, как она повторила-таки это слово) за ваш неуместно многозначительный тон в давешнем разговоре с Артуром. Мне впору было бы усмотреть тут в некотором роде злоупотребление доверием. Я понимаю, вы просто не обдумали...

– Не желаю слушать! – перебил непримиримый Иеремия, отмечая эту оговорку. – Я все обдумал.

– Знаете что, вы уж разговаривайте сами с собой, а я лучше помолчу, – сказала миссис Кленнэм после паузы, в которой чувствовалось раздражение. – Бесполезно обращаться к упрямому старому сумасброду, который задался целью перечить мне во всем.

– И этого тоже не желаю слушать, – возразил Иеремия. – Никакой такой целью я не задавался. Я сказал, что все обдумал. Угодно вам знать, почему, обдумавши все, я говорил с Артуром именно так, упрямая вы старая сумасбродка?

– Вы мне решили вернуть мои собственные слова, – сказала миссис Кленнэм, стараясь обуздать свое негодование. – Да, я хочу знать.

– Так я вам скажу. Потому что вы должны были вступить перед сыном за память отца, а вы этого не сделали. Потому что прежде чем распалиться гневом за себя, вы, которая...

– Остановитесь, Флинтвинч! – воскликнула она изменившимся голосом. – Как бы вы не зашли чересчур далеко!

Но старик и сам спохватился. Последовала новая пауза, во время которой он, видимо, перешел на другое место; потом он заговорил опять, уже значительно мягче:

– Я вам начал объяснять, почему я говорил с Артуром так. Потому что, на мой взгляд, прежде чем думать о себе, вам следовало подумать об отце Артура. Отец Артура! Я никогда не питал особого расположения к отцу Артура. Я служил его дяде еще тогда, когда отец Артура значил в этом доме немногим больше меня, денег у него в кармане было меньше, чем у меня, а надежд на дядино наследство ровно столько, сколько у меня. Он голодал в парадных комнатах, а я голодал на кухне; вот и вся почти разница между нами – одна крутая лестница нас разделяла. Я в ту пору относился к нему довольно холодно; впрочем, не помню, чтобы когда-либо я относился к нему иначе. Человек он был безвольный, слабый, с самого своего сиротского детства запуганный чуть не до полусмерти. И когда он привел в дом вас – жену, выбранную ему дядей, достаточно было один раз взглянуть на вас (а вы тогда были красивая женщина), чтобы понять, кто будет верховодить в семейной жизни. Начиная с тех пор, вы всегда умели сами за себя постоять. Будьте же и теперь такой. Не пытайтесь опираться на мертвых.

– Я вовсе не опираюсь на мертвых – как вы говорите.

– Но были бы не прочь опереться, если бы я не помешал, – пробурчал Иеремия. – За это вы на меня и набросились. Не можете простить мне, что я помешал. Вас, верно, удивляет, с чего это мне вдруг вздумалось заступиться за отца Артура? Ведь так, сознайтесь? А впрочем, хоть и не сознавайтесь, все равно я знаю, что это так, и вы сами знаете, что это так. Ладно, я вам объясню, в чем тут дело. Может, со стороны это покажется странностью, но таков уж у меня характер: не могу стерпеть, чтобы какой-нибудь человек делал все, как ему хочется. Вы женщина решительная, умная, если вы поставили перед собой цель, ничто вас не отвратит от нее. Кому и знать это, как не мне.

– Ничто не отвратит меня от поставленной цели, Флинтвинч, если она для меня внутренне оправдана. Вот что надобно прибавить.

– Внутренне оправдана? Я ведь сказал, что вы самая решительная женщина на свете (хотел сказать, во всяком случае), и уж если вы решили добиться какой-то цели, что вам стоит найти для нее внутреннее оправдание?

– Глупец! Мое оправдание – в этой книге! – с грозным пафосом воскликнула она и, судя по раздавшемуся звуку, изо всей силы стукнула рукой по столу.

– Хорошо, хорошо, – невозмутимо отозвался Иеремия. – Мы сейчас не станем в этом разбираться. Так или иначе, но, поставив перед собой цель, вы ее добиваетесь, и при этом вам нужно, чтобы все подчинялось вашему замыслу. Ну, а я подчиняться не намерен. Я много лет был вам преданным и полезным помощником, и я даже привязан к вам. Но стать вашей тенью – на это я не могу согласиться, не хочу согласиться, никогда не соглашался и не соглашусь. Глотайте на здоровье всех, кого хотите! А я не дамся – такой уж у меня странный нрав, сударыня, не желаю, чтобы меня глотали живьем.

Не здесь ли следовало искать основу взаимного понимания этих двух людей? Не эта ли недюжинная сила характера, угаданная ею в мистере Флинтвинче, побудила миссис Кленнэм снизить до союза с ним?

– Оставим этот вопрос и не будем больше к нему возвращаться, – сумрачно сказала она.

– Только не вздумайте наброситься на меня опять, – возразил неумолимый Флинтвинч, – иначе нам придется к нему вернуться.

Тут миссис Флинтвинч приснилось, будто ее супруг принялся расхаживать взад и вперед по комнате, чтобы остудить свою злость, а она будто убежала в сени и некоторое время стояла

там, в темноте, прислушиваясь и дрожа всем телом; но все было тихо, и вскоре страх перед нечистой силой и любопытство взяли свое, и она снова прокралась на прежнее место за дверь.

– Зажгите, пожалуйста, свечу, Флинтвинч, – говорила миссис Кленнэм, явно желая направить разговор на обыденные предметы. – Время чай пить. Крошка Доррит сейчас придет и застанет меня в потемках.

Мистер Флинтвинч проворно зажег свечу и, ставя ее на стол, заметил:

– Кстати, каковы ваши планы насчет Крошки Доррит? Так она и будет вечно здесь работать? Вечно являться в вашу комнату к чаю? Вечно приходить и уходить, как она сейчас приходит и уходит?

– Разве можно говорить о вечности, обращаясь к бедной калеке? Всех нас косит время, точно траву на лугу; но меня эта жестокая коса подрезала уже много лет назад, и с тех пор я лежу здесь, немощная, недвижимая, в ожидании, когда Господь Бог приберет меня в свою житницу.

– Так-то так. Но вы здесь лежите живая-живехонькая – а сколько детей, юношей, молодых цветущих женщин и здоровых и крепких мужчин было скошено и прибрано за эти годы, которые для вас прошли почти бесследно – вы даже и переменились очень мало. Вы еще поживете, да и я, надеюсь, тоже. А когда я говорю «вечно», то подразумеваю наш с вами век – хоть я и не поэтического склада.

Все эти соображения мистер Флинтвинч изложил самым невозмутимым тоном и столь же невозмутимо стал ждать ответа.

– Если Крошка Доррит и впредь останется такой же скромной и прилежной и будет нуждаться в той незначительной помощи, которую я в силах ей оказать, она может рассчитывать на эту помощь, пока я жива, – разве только сама от нее откажется.

– И больше ничего? – спросил Флинтвинч, поглаживая свой подбородок.

– А что же еще? Что, по-вашему, должно быть еще? – воскликнула миссис Кленнэм с угрюмым недоумением в голосе.

После этого миссис Флинтвинч приснилось, будто они с минуту или две молча глядели друг на друга поверх пламени свечи, и каким-то образом она почувствовала, что глядели пристально.

– А вы случайно не знаете, миссис Кленнэм, – спросил повелитель Эффери, понизив голос и придав ему выражение, значительность которого вовсе не соответствовала простоте вопроса, – вы случайно не знаете, где она живет?

– Нет.

– А вы не – ну, скажем, не желали бы узнать? – спросил Иеремия таким тоном, словно готовился вцепиться в нее.

– Если бы желала, так давно уже узнала бы. Разве я не могу у нее спросить?

– Стало быть, не желаете знать?

– Не желаю.

Мистер Флинтвинч испустил долгий красноречивый вздох, а затем сказал, все так же многозначительно:

– Дело в том, что я – совершенно случайно, заметьте! – выяснил это.

– Где бы она ни жила, – возразила миссис Кленнэм монотонным скрипучим голосом, отчеканивая слово за словом, как будто все произносимые ею слова были вырезаны на металлических брусочках и она их перебирала по порядку, – это ее секрет, и я на него посягать не намерена.

– Может быть, вы даже предпочли бы не знать о том, что я знаю то, чего вы не знаете? – спросил Иеремия; эта дважды перекрученная фраза вышла удивительно похожей на него самого.

– Флинтвинч, – сказала его госпожа и компаньонша с неожиданной силой, так что Эффери за дверью даже вздрогнула, услышав ее голос, – зачем вы стараетесь вывести меня из терпения? Вы видите эту комнату. Если есть что-либо утешительное в моем долголетнем заточении в ее четырех стенах – не поймите это как жалобу, вам хорошо известно, что я никогда не жалею на свою судьбу, – но если может тут быть что-либо утешительное для меня, так это то, что, лишённая радостей внешнего мира, я в то же время избавлена от знания некоторых вещей, которые мне знать не хотелось бы. Так почему же вы, именно вы хотите отказать мне в этом утешении?

– Ни в чем я вам не хочу отказывать, – возразил Иеремия.

– Тогда ни слова больше – ни слова больше. Пусть Крошка Доррит хранит свой секрет, и вы тоже его храните. Пусть она, как и раньше, приходит и уходит, не встречая любопытных взглядов и не подвергаясь расспросам. И пусть у меня, в моих страданиях будет хоть одно маленькое облегчение. Неужели это так много, что вы готовы терзать меня, точно злой дух, из-за этого?

– Я только задал вам вопрос.

– А я на него ответила. И ни слова больше – ни слова больше. – Тут скрипнули колеса покотившегося кресла, и тотчас же резко зазвонил колокольчик.

Эффери, в которой страх перед мужем пересилил в эту минуту страх перед нечистой силой, торопливо и бесшумно прокралась в сени, сбежала вниз по кухонной лестнице еще быстрее, чем недавно бежала по ней вверх, уселась на прежнее место у очага, снова подоткнула подол юбки, а затем накинула передник на голову. Колокольчик позвонил опять, потом еще и еще раз, наконец зазвонил без перерыва, но Эффери оставалась глуха к его настойчивому звону; она все сидела, накрывшись передником, и тщетно старалась перевести дыхание.

Но вот наконец по лестнице, ведущей из верхних комнат в сени, послышалось шарканье туфель мистера Флинтвинча, сопровождаемое невнятной воркотней и возгласами: «Эффери, старуха!» А так как Эффери по-прежнему не шевелилась под своим передником, он со свечой в руке спустился, несколько раз споткнувшись, вниз, подошел к ней вплотную, сдернул с ее головы передник и сильно встряхнул ее за плечо.

– Ох, Иеремия! – разом проснувшись, воскликнула Эффери. – Как ты меня напугал!

– Ты что тут делаешь, а? – грозно спросил Иеремия. – Тебе раз пятьдесят звонили.

– Ох, Иеремия! – сказала миссис Эффери. – Мне снился сон.

Припомнив недавние похождения своей супруги в мире сонных грез, мистер Флинтвинч поднес свечу к самому ее лицу, как бы вознамерившись устроить из нее факел для освещения кухни.

– А ты знаешь, что уже время подавать ей чай? – спросил он, злобно оскалившись и пинком едва не выбив из-под миссис Эффери стул.

– Чай, Иеремия? Ох, я сама не знаю, что со мной такое. Уж очень я напугалась перед тем, как заснула, оттого, должно быть, все так и вышло.

– Эй ты, сонная тетеря! – прикрикнул мистер Флинтвинч. – Что ты там несешь?

– Я слышала какой-то странный шум, Иеремия, и какую-то непонятную возню. Вот здесь – здесь, в кухне.

Иеремия поднял свечу и оглядел закопченный потолок кухни, затем опустил свечу вниз и оглядел сырой каменный пол, затем повернулся со свечой кругом и оглядел разукрашенные потеками и пятнами стены.

– Крысы, кошки, вода в трубах, – сказал Иеремия.

При каждом из этих предположений миссис Эффери отрицательно качала головой.

– Нет, Иеремия, это ведь уж и раньше бывало. И не только в кухне, но и наверху, а один раз ночью, когда я шла по лестнице из ее комнаты в нашу, я услышала шорох прямо у себя за спиной и даже вроде почувствовала какое-то прикосновение.

– Эффери, старуха, – свирепо произнес мистер Флинтвинч, поведив носом у самых губ своей супруги, чтобы удостовериться, не отдает ли от нее спиртным, – если сию же минуту не будет готов чай, ты у меня почувствуешь такое прикосновение, голубушка, что отлетишь на другой конец кухни.

Это предупреждение расшевелило миссис Флинтвинч и заставило ее поторопиться с чайником наверх, в комнату больной. Но как бы то ни было, она окончательно утвердилась в своем мнении, что в этом мрачном доме творится неладное. С тех пор она никогда не знала покоя после наступления сумерек и, выходя в темноте на лестницу, всякий раз закутывала голову передником из страха, как бы чего не увидеть.

Все эти таинственные тревоги и непонятные сны повергли миссис Флинтвинч в душевное смятение, от которого, как мы увидим в дальнейшем, ей не скоро суждено было оправиться. В зыбком тумане нахлынувших на нее впечатлений и переживаний все вокруг стало казаться ей загадочным, и от этого она сама сделалась загадочной для других, и окружающим было так же трудно разбираться в ее словах и поступках, как ей самой разобраться в том, что происходило в доме, где она жила.

Итак, миссис Эффери все еще возилась с приготовлением чая, когда раздался негромкий стук в дверь, каким всегда оповещала о своем приходе Крошка Доррит. Миссис Эффери смотрела, как Крошка Доррит снимает в сенях свою простенькую шляпку, а мистер Флинтвинч безмолвно разглядывает ее издали, поскребывая свой подбородок, и словно ждала, что вот-вот стряется нечто чрезвычайное, от чего она лишится рассудка со страху, а может быть, их всех троих разорвет на куски.

Когда с чаепитием было покончено, снова послышался стук в наружную дверь, на этот раз оповещавший о приходе Артура. Миссис Флинтвинч пошла отворить ему. Не успев переступить порог дома, Артур обратился к ней:

– Очень хорошо, что это вы, Эффери. Мне нужно вас кое о чем спросить.

Но Эффери торопливо ответила:

– Нет, нет, Артур. Ради бога, не спрашивайте меня ни о чем! У меня наполовину отшибло разум страхом и наполовину – снами. Не спрашивайте меня ни о чем! Не знаю я, что есть, и чего нет, и что было, и чего не было! – С этими словами она убежала от него и больше не показывалась ему на глаза.

Миссис Эффери не была охотницей до книг, а скудное освещение в комнате не позволяло ей заниматься шитьем, даже если бы она того хотела, а потому все свои вечера она просиживала теперь в том темном углу, откуда появилась перед Артуром в день его приезда, и самые невероятные мысли и подозрения, касавшиеся ее мужа, ее госпожи и таинственных звуков старого дома, роились у нее в голове. В то время, когда миссис Кленнэм с неистовым пылом твердила вслух свой религиозный урок, мысли эти нет-нет да и заставляли Эффери оглядываться на дверь, и, пожалуй, ее ничуть бы не удивило, если бы оттуда вдруг вышла какая-то темная фигура и увеличила собой число внимающих благочестивым поучениям.

Вообще же Эффери употребляла все усилия, чтобы ни словом, ни жестом не привлекать к себе внимания двух умников, и лишь в редких случаях (большей частью это бывало в час, когда вечернее бдение уже подходило к концу) она вдруг выскакивала из своего угла и с перекошенным от страха лицом шептала мистеру Флинтвинчу, мирно читавшему газету у столика миссис Кленнэм:

– Вот опять, Иеремия! Слышишь? Что это за шум?

Но шум, если он и был, уже успевал затихнуть, и мистер Флинтвинч рычал на нее с такой яростью, как будто это она против его воли срезала его с веревки:

– Эффери, старуха, ты опять за свое! Ну погоди, вот я тебя сейчас так угощу, что тебе не поздоровится!

Глава XVI

Ничья слабость

Настало время возобновить знакомство с семейством Миглз, и вот в один субботний полдень, памятуя свой уговор с мистером Миглзом при посещении Подворья Кровоточащего Сердца, Кленнэм отправился в Туикнем, где у мистера Миглза имелся собственный коттедж. День выдался погожий, ясный, и так как Артуру, давно не бывавшему в родных краях, любая сельская дорога Англии сулила много интересных впечатлений, он отправил свой багаж с дилижансом, а сам решил идти пешком. Была тут для него и прелесть новизны – на чужбине ему редко приходилось разнообразить свой досуг долгими пешеходными прогулками.

Он выбрал путь на Фулем и Путни, ради удовольствия пройти через вересковую пустошь. Там солнце светило особенно ярко и радостно; но, еще не успев далеко уйти по дороге, ведущей в Туикнем, он уже блуждал в неведомых далях других дорог, более призрачных и туманных. Они открылись перед ним, как только мерный, бодрящий шаг и прелесть окружающего ландшафта сделали свое дело. Когда бродишь один в сельской тиши, трудно не отдалиться раздумью. А у Кленнэма так много было нерешенных вопросов, что пищи для размышлений ему хватило бы даже, если бы он шел на край света.

Первым был вопрос, который почти не выходил у него из головы в последнее время: что делать дальше, к какому занятию себя приставить и где это занятие искать? Он отнюдь не был богат, и каждый день нерешительности и бездействия увеличивал его тревоги, связанные с отцовским наследством. Стоило ему задуматься о том, как лучше распорядиться этим наследством, чтобы сохранить его в неприкосновенности или приумножить, – и тотчас же вновь являлась беспокойная мысль, что где-то есть человек, который вправе требовать исправления причиненного ему зла. Об одном только этом можно было бы размышлять в течение самой длинной прогулки. Но был и другой предмет – его отношения с матерью, которую он аккуратно навещал теперь три-четыре раза в неделю, и на взгляд все шло у них гладко и мирно, однако же взаимное доверие так и не установилось. Неизменным и едва ли не главным предметом его дум и забот оставалась Крошка Доррит; в силу превратности его собственной судьбы и всего того, что ему пришлось узнать о судьбе и жизни этой девушки, она была теперь единственной живой душой, с которой его связывали узы теплых человеческих чувств – уважения, бескорыстного участия, благодарности, сострадания, узы, основанные на невинной доверчивости, с одной стороны, и ласковом покровительстве – с другой. В раздумья Кленнэма о ее будущем невольно вплеталась мысль о том дне, когда всеразрешающая рука смерти даст наконец свободу ее отцу; ибо только такой оборот событий позволил бы Артуру на деле проявить свое дружеское участие, переменить всю ее жизнь, убрать тяготы с ее нелегкого пути, предоставить ей домашний кров, которого она никогда не имела; иными словами, он принял решение удочерить это бедное дитя долговой тюрьмы и сделать так, чтобы оно обрело отдых и покой. Быть может, его мысли занимал и еще один предмет, имевший непосредственное отношение к тому месту, куда он направлялся; но тут все очертания были настолько смутны, что скорей даже это был не предмет, а некая призрачная дымка, обволакивающая все прочие раздумья.

Уже пустошь осталась позади, когда он заметил на дороге пешехода, идущего в ту же сторону, и что-то в облике этого пешехода показалось ему знакомым. Где-то он уже видел этот наклон головы, эту сосредоточенно-задумчивую манеру в сочетании с твердым, энергичным шагом. Но вот пешеход остановился и сдвинул шляпу на затылок, как бы рассматривая какую-то вещь, – и Кленнэм узнал Дэниела Дойса.

– Здравствуйте, мистер Дойс, – сказал Кленнэм, поравнявшись с ним. – Рад встретить вас снова, и к тому же в местах, куда более приятных, нежели Министерство Волокиты.

– А, приятель мистера Миглза! – воскликнул опознанный преступник, оторвавшись от выкладок, которые он, видимо, делал в уме, и пожимая руку Артуру. – Очень приятно, сэр. Вы уж извините, запомнил вашу фамилию.

– Охотно извиняю. Тем более что фамилия ничем не прославленная. Не Полип.

– Знаю, знаю, – засмеялся Дойс. – Я уже вспомнил: Кленнэм. Рад вас видеть, мистер Кленнэм.

– Сдается мне, мистер Дойс, – сказал Артур, когда они зашагали дальше, – что мы с вами держим путь в одно и то же место.

– Значит, и вы в Туикнем? – спросил Дэниел. – Что ж, тем лучше.

Они очень быстро освоились друг с другом, и у них завязался оживленный разговор, за которым время летело незаметно. Злонамеренный изобретатель отличался скромностью и здравым умом; кроме того, он привык сочетать смелый и оригинальный замысел с точным и тщательным исполнением, и одно это, при всей его непритязательности, делало его человеком далеко не заурядным. Нелегко было заставить Дэниела Дойса разговориться о себе; поначалу он отделялся скупыми и уклончивыми ответами: да, он сделал то-то и то-то, такое-то изобретение принадлежит ему, и такое-то усовершенствование – тоже ему; но ведь таково уж его ремесло, знаете ли, таково уж его ремесло. Однако мало-помалу он уверился, что его спрашивают не из праздного любопытства, и это развязало ему язык. Так Артур узнал, что он сын кузнеца, родом с севера; что мать, овдовев, отдала его в ученье к слесарю; что, прочувшись немного времени, он стал «придумывать разные мелочишки», и это повело к тому, что слесарь освободил его от контракта и отпустил с денежным подарком, благодаря которому он смог осуществить свою заветную мечту – определиться в ученики к опытному механику. В мастерской этого механика он провел семь лет, упорно трудился, упорно учился, упорно недосыпал и недоедал. Когда положенный срок пришел к концу, он не захотел уйти и еще семь или восемь лет работал в мастерской на жалованье; а после того подался на берега Клайда, где снова работал и снова учился, сменяя книгу на молоток и сверло, чтобы пополнить свои теоретические и практические знания. Так прошло еще шесть или семь лет. Потом ему предложили поехать в Лион, и он принял это предложение; из Лиона перекочевал в Германию, а находясь в Германии, получил приглашение в Россию, в Санкт-Петербург, где дела у него пошли очень успешно, пожалуй, успешней, чем где бы то ни было. Однако вполне естественное чувство влекло его в Англию; ему хотелось добиться успеха на родине, хотелось послужить ей в меру своих сил. И вот он вернулся. Открыл небольшой завод, изобретал, рассчитывал, строил и, наконец, после двенадцати лет неустанных трудов и стараний зачислен в Британский Почетный Легион – Легион Отвергнутых Министерством Волокиты, и удостоился Британского Большого Креста – креста, поставленного на его деле Полипами и Чваннингами.

– Можно только пожалеть, что вы затеяли это дело, мистер Дойс, – сказал Кленнэм.

– Верно, сэр, – но, с другой стороны, как же быть? Если человек имел несчастье изобрести что-то, что может принести пользу его отечеству, он должен добиться толку, чего бы это ни стоило.

– А не лучше ли махнуть рукой? – спросил Кленнэм.

– Невозможно. – Дойс покачал головой, задумчиво улыбаясь. – Мысль дана человеку не для того, чтоб быть похороненной в его голове. Мысль дана ему для того, чтобы создавать вещи, полезные людям. Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бороться за свое изобретение.

– Вы хотите сказать, – отозвался Артур, проникаясь все большим уважением к этому тихому человеку, – что даже и теперь вы не утратили мужества?

– Не имею на это права, – отвечал Дойс. – Ведь идея моя все-таки верна!

Некоторое время они шагали молча, затем Кленнэм, желая переменить разговор и в то же время не желая делать это слишком резко, спросил мистера Дойса, есть ли у него компаньон, который делил бы с ним все заботы и трудности.

– Нет, – отвечал тот. – Теперь нет. Был у меня компаньон, в то время когда я начинал. Хороший был человек, настоящий друг. Но он несколько лет назад умер; и так как я не мог примириться с мыслью, что кто-то другой займет его место, я выкупил у наследников его долю и с тех пор управляюсь один. Только, знаете что? – добавил он, остановившись и с добродушной усмешкой положив на локоть Кленнэма свою правую руку со странно отогнутым большим пальцем, – изобретатели не годятся для ведения дел.

– Неужели?

– По крайней мере так утверждают деловые люди, – сказал Дойс и, весело расхохотавшись, снова зашагал вперед. – Уж не знаю почему, но принято считать, что мы, горемычные, начисто лишены обыкновенного житейского здравого смысла. Даже милейший хозяин этого дома, – Дойс мотнул головой в сторону Туикнема, – лучший мой друг на земле, почитает своим долгом опекать меня, как существо, неспособное о себе позаботиться.

Артур Кленнэм в свою очередь не удержался от смеха, услышав это справедливое замечание.

– Выходит, нужен мне такой компаньон, который был бы настоящим деловым человеком и никогда не грешил бы по части изобретательства, – снова заговорил Дойс, сняв шляпу и проводя ладонью по лбу. – Хотя бы в угоду ходячему мнению и для того, чтобы поддержать престиж предприятия. Не думаю, чтобы этот новый компаньон – кто бы он ни был – нашел у меня очень уж большие упущения или беспорядок в делах; а впрочем, это ему судить, а не мне.

– Так, значит, вы еще не подыскали себе компаньона?

– Нет, сэр, еще нет. Я, собственно, только недавно решил, что мне без этого не обойтись. Видите ли, дел все прибавляется, а мне и на заводе работы предовольно, годы-то уже не те. Нужно и переписку вести, и книги содержать в порядке, и за границу ездить – там тоже хозяйский глаз требуется, – и меня уже на все не хватает. Вот если удастся улучшить полчаса, думаю потолковать обо всем этом с моим – моим опекуном и покровителем, – сказал Дэниел Дойс, и в глазах у него снова блеснул смех. – Он человек умудренный опытом и хорошо разбирается в подобных материях.

Еще много о чем они беседовали, пока не добрались до цели своего путешествия. Во всех суждениях Дойса чувствовалась спокойная и сдержанная уверенность – уверенность человека, который твердо знает: что верно, то всегда будет верно, вопреки всем Полипам, населяющим родной океан, и останется верным, даже если этот океан пересохнет до последней капли; однако эта величаящая уверенность ничем не напоминала величественного апломба чиновных лиц.

Хорошо зная местоположение коттеджа, Дойс повел Артура дорогой, откуда это местоположение казалось особенно живописным. Дом был прелестный (некоторая причудливость архитектуры его не портила); он стоял близ дороги, на речном берегу, и казалось, трудно было подобрать для семейства Миглз более подходящее обиталище. Вокруг дома тянулся сад, должно быть, так же прекрасно расцветавший в майскую пору, как сейчас, в майскую пору своей жизни, цвела Бэби; и густо разросшиеся деревья склонялись над домом, оберегая его, как мистер и миссис Миглз оберегали свою любимую дочку. Тут прежде стоял другой, кирпичный дом; часть его снесли совсем, а другую перестроили заново, так что в нынешнем коттедже были и добротные старые стены, словно бы символизировавшие собой мистера и миссис Миглз, и прехорошенькая, легкая новенькая пристройка, словно бы символизировавшая Бэби. К дому еще лепилась оранжерея, выстроенная позднее; в тени ее стекла казались тусклыми и темными, но когда ударяло в них солнце, они то вспыхивали, как пламя пожара, то мирно поблескивали, как прозрачные капли воды. Эту оранжерею можно было бы счесть символом Тэттикорэм. Из окон открывался вид на реку, по которой скользила лодка перевозчика; и мир-

ный этот вид, казалось, назидательно говорил обитателям дома: «Вот вы молоды или стары, запальчивы или кротки, негодуете или смиряетесь, а тихие струи потока всегда неизменны в своем беге. Какие бы бури ни бушевали в сердцах, вода за кормою журчит всегда одну и ту же песню. Год за годом проходит, и все столько же миль в час пробегают речные воды, все на столько же ярдов сносит течением лодку при переправе, все так же здесь белеют кувшинки, а там шелестят камыши, и река свершает свой вечный путь, не ведая перемен и смятений; тогда как ваш путь по реке времени прихотлив и полон неожиданностей».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.